Путь русского офицера
А.В. Туркул
Дроздовцы
В ОГНЕ

Антон Васильевич Туркул

Дроздовцы в огне

Серия «Путь русского офицера»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16900227
Дроздовцы в огне : Вече; Москва; 2013
ISBN 978-5-4444-1022-6, 978-5-4444-8259-9

Аннотация

«„Дроздовцы в огне“ – не воспоминания и не история – это живая книга о живых, боевая правда о том, какими были в огне, какими должны быть и неминуемо будут русские белые солдаты» – так охарактеризовал свой труд генерал-майор А. В. Туркул.

На страницах книги автор красочно рисует картины боев и походов знаменитой Дроздовской стрелковой дивизии в годы Гражданской войны, акцентируя внимание читателей на личностях генералов, офицеров и солдат белой армии.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей и является одним из знаковых произведений российской эмиграции.

Содержание

Предисловие автора[1] 5
Наша заря 7
Земля обетованная 15
Суховей 19
Смерть Дроздовского 24
Пурга 28
Баклажки 32
Полковник Петерс 39
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Антон Васильевич Туркул
Дроздовцы в огне

© Оформление. ООО «Издательство „Вече“», 2013

Предисловие автора[1]

К 30-й годовщине Белой борьбы я решил переиздать свои заметки. Не без колебаний предпринимаю я это.

Тридцать лет отделяют нас от той поры, когда мы взялись за оружие, чтобы бороться с захлестывавшей тогда Россию большевистской волной. На нашу долю выпала горечь и честь быть первыми, начавшими эту борьбу. Мы начали ее, когда многим еще не ясны были контуры того всепоглощающего рабства и погашения духа, которые безбожное, материалистическое коммунистическое учение несло с собою не только России, но и всему миру.

Три года длилась эта борьба, ведшаяся с нечеловеческим напряжением и стоившая неисчислимых жертв. В свое время она создала ров между ведшими ее сторонами, между «нами» и «ими». Под «ними» я разумею не коммунистическую власть, еще и теперь продолжающую править над порабощенными народами России – этот ров непреодолим, и никакое время не в состоянии его заполнить. Под «ними» я разумею тех, кто, одурманенный и обманутый этой властью, пошел за нею в годы борьбы и дал ей победу той стойкостью и той жертвенностью, что всегда были свойственны русскому солдату.

«Им» эта победа не принесла ничего. Страшной ценой заплатил народ за свою поддержку советской власти. Вся история России после 1920 года, т. е. после окончания Белой борьбы, – это цепь непрерывных усилий народа в восстаниях, заговорах или путем пассивного сопротивления сбросить поработившую его власть. Эта борьба обошлась ему дороже самых кровопролитных войн.

Советская власть сама позаботилась засыпать ров между «нами» и «ими»; многие из наших бывших противников, участников борьбы на красной стороне, уничтожены красной же рукой; многие, как и мы, тоже очутились в изгнании. И не старый ров между «нами» и «ими» хотел я углублять своими воспоминаниями; нам, бывшим белым и бывшим красным, ныне просто русским, нужно единство для еще предстоящей нам общей борьбы с коммунизмом.

Помимо того, над старыми местами боев «белых» и «красных» прошел кровавый вал Второй мировой войны. Новая русская кровь пролилась на тех же полях, где спят в ожидании Вечного Судьи бывшие враги, белые и красные. В грандиозном размахе событий последней войны бледнеют бои войны Гражданской, протекавшей на ином уровне техники. Некоторые читатели могут спросить, может ли им быть интересно описание боев позапрошлой войны. Но мои воспоминания и не преследуют этой цели.

Цель этой книги – воскресить истинный образ рядовых белых бойцов, безвестных русских офицеров и солдат, и дать почувствовать ту правду и то дыхание жизни, что воодушевляли их в борьбе за Россию. Два поколения русских людей выросли после окончания Белой борьбы; в течение тридцати лет советская пропаганда сознательно извращала их представление о людях и делах «белой» стороны – мои воспоминания помогут им получить более объективное представление.

Нет сомнений – последние сроки приблизились: предстоит «последний и решительный бой» за освобождение России. Да будут в предстоящей нам борьбе образы наших соратников, павших в первых боях с большевизмом, тем примером духа, который воодушевит нас на самоотверженное и бескорыстное служение Родине.

Настоящая книга не является историей Дроздовской стрелковой дивизии, пронесшей свои знамена в огне более чем шестисот пятидесяти боев Гражданской войны и пролившей жертвенную кровь своих 15 000 убитых и 35 000 раненых бойцов.

---

[1] Предисловие написано к изданию 1948 г.

Историю я тогда не имел времени писать. Боевые документы и дневники умещались у меня в одной сумке. Ее я потерял в огне. Все архивы тоже погибли. Зимой 1933 года я начал рассказывать писателю И. С. Лукашу, также участнику Белого движения, все то, что живо запечатлелось у меня в памяти о славной Дроздовской дивизии. Это были не воспоминания, а впечатления о боевом огне, живые для меня навсегда.

Затем я стал получать заметки, боевые дневники, записки и документы от своих бывших соратников. После обработки все это собрано в книгу о дроздовцах. Я горячо благодарен за эту помощь всем соратникам и моему неутомимому сотруднику, ныне покойному, Ивану Созонтовичу Лукашу.

«Дроздовцы в огне» не воспоминания и не история – это живая книга о живых, боевая правда о том, какими были в огне, какими должны быть и неминуемо будут русские белые солдаты.

Книгу я посвящаю русской молодежи.

А. ТУРКУЛ
Апрель 1948 г.

Наша заря

…Я вбегаю по ступенькам деревянной лестницы к нам в юнкерскую, на верхний этаж нашего тираспольского дома, смотрю: а через спинку кресла перекинут френч моего брата Николая с белым офицерским Георгием. Николай, сибирский стрелок, приехал с фронта раньше меня, и я не знал ни о его третьем ранении, ни об ордене Святого Георгия. В третий раз Николай был ранен тяжело, в грудь.

Я приехал с фронта тоже после третьего ранения: на большой войне я был ранен в руку, в ногу и в плечо. Мы были рады нечаянной и недолгой встрече: врачи настояли на отъезде брата в Ялту – простреленная грудь грозила чахоткой. Это было в конце 1916 года. Вскоре я снова уехал на фронт. И вот на фронте застиг меня 1917 год.

Я представляю себя самого тогдашнего, штабс-капитана 75-го пехотного Севастопольского полка, молодого офицера, который был потрясен национальным бедствием революции, как и тысячи других среди военной русской молодежи.

Моя жизнь и судьба неотделимы от судьбы русской армии, захваченной национальной катастрофой, и в том, что я буду рассказывать, хотел бы я только восстановить те армейские дела, в которых я имел честь участвовать, и тех армейских людей, с кем я имел честь стоять в огне заодно.

В разгар 1917 года, когда замитинговал и наш полк, я стал в нашей дивизии формировать ударный батальон.

Надо сказать, что почти с начала войны у меня служил ординарцем ефрейтор Курицын, любопытный солдат. Ему было лет под сорок. Рыжеватый, с нафабренными усами, он был горький пьяница и веселый человек. Звали его Иваном Филимоновичем. До войны он был кровельщиком, во Владимирской губернии у него остались жена и четверо ребят. Курицын очень привязался ко мне.

В 1917 году я отправил его в отпуск и в армейском развале забыл о моем Санчо Панса. И вот внезапно он явился ко мне, но в каком виде: оборванец, в ветоши, в синяках и без сапог.

– Ты что же, – сказал я ему, – ну не образина ли ты, братец. Обмундирование и то пропил…

– Никак нет, не пропил. Меня товарищи раздели.

И Курицын поведал мне, как он приехал из отпуска в наш полк, а меня в полку нет, и комитетчики злобятся, что я отбираю ударников. Иван Филимонович не пожелал оставаться в развалившемся полку и подал докладную по команде, чтобы его из полка отправили ко мне.

Тут и начались испытания ефрейтора Курицына. Комитетчики всячески его оскорбляли, «холуем» бранили, что «ряшку в денщиках нажрал», доходило и до затрещин, а потом на митинге проголосовали отобрать от него все обмундирование, сапоги, казенные подштанники, даже портянки, а выдать самую ветошь. Потому-то Иван Филимонович и явился ко мне чуть ли не нагишом.

Он стоит передо мной, а мне вспоминаются Карпаты, ночь, снег. В ночной атаке на Карпатах я был ранен в ногу. Атаку отбили, наши отошли. Я остался лежать в глубоком снегу, не мог подняться, кость нестерпимо мозжила; я горел и глотал снег. Помню сухие содрогания пулеметного огня, и как надо мной в морозной мгле роились звезды.

Иван Филимонович тогда подобрался ко мне и поволок меня под мышки по снегу. Я невольно застонал. Он прошептал мне сердито, чтобы я молчал. Так он вынес меня из огня. Сам он был ранен в грудь; на груди шинель его была черной от крови и клубилась паром.

Я вспоминаю его на Карпатах, так же как и другого ефрейтора, Горячего, рядового Розума и рядового Засунько и тысячи тысяч других русских солдат, верных присяге и долгу, спящих теперь вповалку в братских могилах до трубы архангела.

И думаю, что они, наши светлоглазые русские орлы, послушные во всем, даже в самой смерти, верящие офицеру и верные ему всей душой, они и создали героическую молодежь, для которой солдат всегда был младшим братом, – героическую молодежь, три года отбивавшую от советского рабства Россию. Мы бились за русский народ, за его свободу и душу, чтобы он, обманутый, не стал советским рабом.

Возвратившегося Ивана Филимоновича я поблагодарил за верную службу, а его жене во владимирское село послал сколько мог денег. Самому Курицыну дать деньги поостерегся: все равно пропьет.

Это было после развала 12-й армии, когда в 3-ю Особую дивизию был переброшен мой ударный батальон. Там Курицын и напросился доставить ко мне домой трех моих коней. Кони действительно были хороши, и заплатил я за них хорошо, но их надо было везти в Тирасполь, чуть ли не через всю Россию, в самую разруху.

Жалел коней и мой вестовой сибиряк Павел Дроздов. Дроздов был солдат заботливый. В глинистых окопах, полных воды, если у меня промокнут ноги, обязательно найдутся у Павла шерстяные носки на перемену, всегда есть чистое белье, а горячие котелки из кухонь он мне носил под самым огнем. Сибиряк был человек суровый, любитель порядка и спорщик по домашним делам.

Павел Дроздов очень желал получить Георгиевский крест. Под Станиславом он напросился со мной в бой. Я дал команду к атаке, поднялся, за мной – адъютант ударного батальона, а все лежат. Смотрю, поднимается один мой Павел.

Так мы трое и начали атаку: командир, адъютант и вестовой. За нами поднялись все. Павел был легко ранен в плечо. В атаке он заслужил свой солдатский крест. После удачного боя нам пришлось переходить вброд какую-то речонку, и вот мой новый герой окликает меня по-домашнему: «Ваше благородие, как вы ноги промочили, носки другие подмените!» Любопытно, что после этого боя все солдаты весьма уважительно стали величать Дроздова по имени-отчеству.

Сибиряки, чалдоны – крепкий народ. Я помню, как эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из окопов другой норовит бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает – и не следит. Сибирский же стрелок бьет редко, да метко. Он всегда норовит стрелять по прицелу. Про сибиряков недаром говорят, что они белке в глаз метят, чтобы шкурки не испортить. Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмечают, как известно, многие военные писатели, и среди них генерал Людендорф.

А своими победами сибирские бородачи перед другими солдатами были горды, что называется, до черта. Едва зайдет при них солдатский разговор, что такому-то полку дали георгиевские петлицы или что там-то снова прославилась гвардия, как сибиряк уже щурится презрительно и говорит с равнодушием: «Да брось ты про георгиевские петлицы… Гвардея тоже… Что гвардея, когда мы, сибирячки, с ашалонов Аршаву атаковали».

Вот мой чалдон Дроздов с Курицыным погрузили коней в вагон и поехали. А куда поехали – не известно ни им, ни мне.

Я с девятью офицерами-ударниками добрался до Тирасполя только к самой зиме, среди тяжелого развала, тягостного и бессмысленного гама митингов, кишащих солдат. В Тирасполе моих вестовых не было, и я подумал, что они либо загнали лошадей, либо их самих куда-нибудь загнали с конями.

Все эти девять офицеров жили у меня в доме. Мы всюду ходили вместе: даже бриться и за папиросами. Уже тогда мы решили пробраться на Дон, о котором доносились глухие слухи. Тирасполь, полный солдат и матросов, тоже митинговал, но никто из нас не снимал погон, и ходили мы по улицам с ручными гранатами, обычно четверо впереди, четверо позади, а я посредине.

Товарищи нас явно боялись, а когда попытались напасть, мы отбили нападение ручными гранатами. Гранаты нам пришлось бросать около самой женской гимназии, и сотни детских лиц смотрели на этот нечаянный бой, прижавшись к стеклам окон. Такой была наша тираспольская Вандея.

Вскоре после того, на балу в реальном училище, ко мне подошел какой-то штатский господин. Это был капитан Кавтарадзе, грузин, расстрелянный позже грузинами же. Он предложил мне ехать в отряд полковника Дроздовского, формируемый в Яссах, чтобы идти на Дон к генералу Корнилову.

О Дроздовском ни я, ни девять моих офицеров совершенно ничего не знали. Я поручил одному из ударников, поручику Турбину, съездить и узнать, существует ли такой отряд. Через три дня поручик Турбин вернулся и доложил, что отряд Дроздовского действительно есть. Тогда мы все решили ехать к Дроздовскому, чтобы пробиваться к Корнилову отрядом, а не одиночками, что было куда тяжелее.

Помню солнечное зимнее утро. Мать сидела в гостиной у окна. Ее седая голова была как бы очерчена прохладным серебристым светом. Я вошел и молча сел на поручень ее кресла. Мать заметила, что мне не по себе.

– Ты хочешь что-то сказать?

– Да, я ухожу с Дроздовским. В поход.

– Какой поход? Войны больше нет. Все развалилось, все кончено…

– Это хуже войны. Дело идет о существовании России.

Мать склонила седую голову;

– Николай в Ялте, больной… Может быть, смертельно. Ты едва оправился от ран. Я почти не видела вас… За что опять отнимают вас обоих? У меня же сил больше нет. Я мать.

Она зарыдала глухо. Я поцеловал ее седую голову с таким строгим и милым пробором. Я говорил ей, как умел, что если не противопоставить человеческой честной силы бесчеловечным и бесчестным насильникам, все равно они разгромят жизнь. Или Россия и человеческая жизнь в России будут взяты нами с боя, или Россия и вся жизнь в ней будут замучены большевиками.

Мать слушала меня, отвернувшись к окну. Когда она обернулась, ее глаза были сухи и светились печально. Мать привыкла к разлукам. Мой отъезд был решен.

Провинциальный Тирасполь мирно светился от снега. Стояла крепкая зима. Однажды, в начале декабря, горничная вызвала меня вниз.

– Ваши пришли, – весело и загадочно сказала она.

Я вышел в прихожую, а там в облаке морозного пара, оттаптывая снег, стоят Курицын и Дроздов, оба в ладно пригнанных шинелях. Оруженосцы не только доставили моих коней, но и откормили их до того, что верховые кони стали похожи на ломовых битюгов. Чудаки, везли коней без одной выводки целых пять недель.

По дороге мои проводники завалили сеном, натасканным из интендантских складов, весь товарный вагон, а под овес заняли еще и соседнюю площадку. Сказать ли, Курицын и Дроздов изловчились раздобыть по дороге больше ста тюков прессованного сена. Они привезли каких-то чудовищных зверей для Гаргантюа, которые вскоре и были проданы. Перестарались.

Наша встреча была самой душевной. Оба они хорошо у меня отдохнули. Потом я помог Дроздову выехать в Сибирь, куда он торопился, а Курицыну сказал:

– Поезжай и ты, брат, в деревню.

– А вы, ваше благородие, куда собираетесь?

– Я к генералу Корнилову.

– А мне что же делать в деревне?

– Как – что? Вот чудак. У тебя жена, дети – семья.

– Сами знаете, к семейственному я не пригож. А на те деньги, что вы им, спасибо, послали, жена год будет жить, да еще радоваться, что меня нет. Не поеду я, ваше благородие, в деревню. Я уж с вами останусь. Как допрежде был, так и теперь.

Я наградил его чем мог, сказал, что он еще может остаться у нас присмотреть за конями, но потом должен возвращаться к себе домой.

С девятью офицерами я выехал в отряд Дроздовского, а Курицын, можно сказать, меня обманул: во Владимирскую губернию он так и не вернулся, а остался в Тирасполе, в нашем доме.

В Румынии было тогда полно русских войск, но сверху никто не отдавал приказа о создании добровольческих отрядов. Больше того, русское командование растерялось.

Бригады добровольцев формировались в Кишиневе, в Яссах и под Яссами, на станции Скинтея. Третья бригада полковника Дроздовского, куда мы прибыли, стояла на этой станции. Помню, как уже после одной командировки в Киев, когда я ехал назад в Скинтею, на бульваре в Кишиневе встретилась мне блестящая коляска бессарабского помещика. В коляске я узнал моего старого приятеля, однополчанина по большой войне, поручика Мелентия Димитраша. Кряжистый, с рыжеватыми усами, спортсмен британской складки, с дерзко улыбающимися зеленоватыми глазами, он был известен как блестящий, бесстрашный офицер, Димитраш был добровольцем в Китае во время восстания «Большого кулака», на японской и на великой войне.

Мы расцеловались. Указывая на трехцветный наугольник на моем рукаве, Димитраш спросил:

– А это что такое?

– Это бригада русских добровольцев.

Димитраш небрежно расспросил о бригаде, о Дроздовском и пригласил к себе обедать.

В самый разгар обеда Димитраш куда-то исчез. Вдруг торжественно растворились двери, и хозяин появился в полной походной форме, с наугольником из трехцветных ленточек на рукаве. Слегка смущенный, он поглаживал рыжеватые усы, его зеленые глаза смеялись.

– Ну вот, – сказал Димитраш, – я бросаю все это и тоже ухожу. Да здравствует поход. За Россию!

На другое утро мы уже ехали с ним в Скинтею.

В феврале румыны начали вести переговоры о сепаратном мире. Тогда-то растерявшимся русским командованием был отдан предательский приказ о расформировании русских добровольческих частей. Приказ этот отдал генерал Кельчевский, перешедший позже к большевикам.

Бригады в Кишиневе и в Яссах приказу подчинились и были распущены. В нашей третьей, Скинтейской, бригаде полковник Дроздовский созвал командный состав, прочел приказ о расформировании и сказал:

– А мы все-таки пойдем…

Ни одного мнения не было подано против. Как и Корнилов, мы восстали против революции. Мы не только не подчинились приказу, но спешно выступили со станции Скинтея в Яссы. Сосредоточились мы у Ясс на вокзале Сокола. Там к нам подошла одна офицерская рота из бригады, расформированной в Яссах. Рота тоже не подчинилась приказу. Мы стали военными бунтовщиками.

Дроздовский уехал в штаб румынского фронта выяснять обстановку, а офицеры и добровольцы, подходившие к нам из города, стали передавать, что наш отряд со всех сторон окружают румынские войска. Мы немедленно отправили сторожевые охранения и выставили пулеметы.

У вокзала были брошены русские пушки. Мы расставили нашу артиллерию, с ней и эти пушки. Наши жерла были направлены на парламент, заседавший тогда в Ясском дворце. Было решено не допускать разоружения. Я помню бессонную ночь, помню ночное собрание старших начальников. Мы ждали приезда Дроздовского, мы решили пробиваться с боем, если румыны не согласятся нас пропустить.

Утром румыны прислали нового офицера с требованием разоружиться. Мы отказались и предупредили, что при первой же попытке разоружить нас силой огонь всей нашей артиллерии будет открыт по городу и парламенту.

А Дроздовского все не было. У многих не только росла тревога за него, но закрадывались и сомнения. В десять часов утра погожего ясного дня, когда мы со всех сторон были окружены румынами и зловеще сверкало на солнце их и наше оружие, вдруг показался автомобиль. В нем Дроздовский. Он как будто бы махал белым платком. Машина остановилась. Толпой, кто только был свободен, мы кинулись к командиру.

– Господа, – радостно сказал Дроздовский, махая листком бумаги, – пропуск у меня в руках – дорога свободна. После обеда мы выступаем.

От нашего молодого горячего «ура» задрожали вокзальные стекла. Дроздовский не мог к нам вернуться вчера – его не пропустили. Тогда он снова поехал в штаб румынского фронта и там раздобыл нам пропуск.

Мы стали лихорадочно грузиться в эшелоны. 26 февраля 1918 года бригада русских добровольцев полковника Михаила Гордеевича Дроздовского начала свой поход; я шел фельдфебелем второй офицерской роты. В Кишинев мы пришли эшелонами. Там подождали, пока подойдут последние эшелоны, и вот – поход начался.

Было нас около тысячи бойцов. Никто не знал, что впереди. Знали одно: идем к Корнилову. Впереди – сотни верст похода, реки, бескрайние степи, половодье, весенняя грязь и враги со всех сторон, свои же, русские враги. Впереди – потемневшая от смуты, клокочущая страна, а кругом растерянность, трусость, шкурничество и слухи о разгуле красных, о падении Дона, о поголовном истреблении на Дону Добровольческой армии. Мы были совершенно одни, и все-таки мы шли.

Нас вел Дроздовский. Теперь мы узнали, что он окончил Военную академию, участвовал в японской войне добровольцем в 34-м Сибирском полку, был ранен, на большой войне командовал 60-м Замостским пехотным полком, а когда был начальником штаба 64-й пехотной дивизии, сам повел в Карпатах в атаку два полка и снова был ранен.

Дроздовский был выразителем нашего вдохновения, сосредоточием наших мыслей, сошедшихся в одну мысль о воскресении России, наших воль, слитых в одну волю борьбы за Россию и русской победы. Между нами не было политических разнотолков. Мы все одинаково понимали, что большевики – не политика, а беспощадное истребление самих основ России, истребление в России Бога, человека и его свободы.

Я вижу тонкое, гордое лицо Михаила Гордеевича, смуглое от загара, обсохшее. Вижу, как стекла его пенсне отблескивают дрожащими снопами света. В бою или в походе он наберет, бывало, полную фуражку черешен, а то семечек, и всегда что-то грызет. Или наклонится с коня, сорвет колос, разотрет в руках, ест зерна.

В наш поход Дроздовский вышел с одним вещевым мешком, и нам было приказано не брать с собой никаких чемоданов.

Припоминаю один ненастный серый день на походе, когда несло мартовский снег. Дымилась темная мокрая степь, дымились люди и кони, колыхавшиеся в тумане, как привидения. Уныло чавкала под ногами холодная грязь. Я и капитан Андриевский устроились на подводе под моей буркой. Снег стал мельче, колючее; сильно похолодало и бурка затвердела. Поднялась пурга.

Из тумана на нашу подводу нашло высокое привидение. Это был Дроздовский верхом, в своей легкой солдатской шинелишке, побелевший от снега. Его окутанный паром конь чихал. Видно было, как устал Дроздовский, как он прозяб, но для примера он все же оставался в седле.

Мы предложили ему немного обогреться у нас под буркой. Неожиданно Дроздовский согласился. Сено под нами было теплое и сухое. Мы быстро нагребли ему сена, он лег между нами, вздохнул и закрыл глаза. Мы накрыли командира буркой и еще стали своими спинами согревать его от злющего ветра. Под мерное качание подводы Дроздовский заснул. Глухо носилась пурга. Мы с Андриевским побелели от снега, нас заметало, но мы лежали не шелохнувшись.

Дроздовский спал совершенно тихо, его дыхания, как у ребенка, не было слышно. Он отдыхал. Так он проспал часа четыре, а когда пробудился, был очень смущен, что заснул на подводе.

У обритых, всегда плотно сжатых губ Дроздовского была горькая складка. Что-то влекущее и роковое было в нем. Глубокая сила воли была в его глуховатом голосе, во всех его сдержанных, как бы затаенных движениях. Точно бы исходил от него неяркий и горячий свет.

Свой известный дневник Дроздовский начал на походе, и записи его дневника – заветы Дроздовского – сегодня живы так же, как и в те дни, когда мы по степям шли на Дон.

«Только смелость и твердая воля творят большие дела. Только непреклонное решение дает успех и победу. Будем же и впредь, в грядущей борьбе, смело ставить себе высокие цели, стремиться к достижению их с железным упорством, предпочитая славную гибель позорному отказу от борьбы».

«Голос малодушия страшен, как яд».

«Нам остались только дерзость и решимость».

«Россия погибла, наступило время ига. Неизвестно, на сколько времени. Это иго горше татарского».

«Пока царствуют комиссары, нет и не может быть России, и только когда рухнет большевизм, мы можем начать новую жизнь, возродить свое отечество. Это символ нашей веры».

«Через гибель большевизма к возрождению России. Вот наш единственный путь, и с него мы не свернем».

«Я весь в борьбе. И пусть война без конца, но война до победы. И мне кажется, что вдали я вижу слабое мерцание солнечных лучей. А сейчас я обрекающий и обреченный».

Обрекающий и обреченный. Он таким и был. Он как будто бы переступил незримую черту, отделяющую жизнь от смерти. За эту черту повел он и нас, и, если мы пошли за ним, никакие страдания, никакие жертвы не могли нас остановить. Именно в этом путь Дроздовского: «через гибель большевизма к возрождению России, единственный путь, наш символ веры».

Белая идея не раскрыта до конца и теперь. Белая идея есть само дело, действие, самая борьба с неминуемыми жертвами и подвигами. Белая идея есть преображение, выковка сильных людей в самой борьбе, утверждение России и ее жизни в борьбе, в неутихаемом порыве воль, в непрекращаемом действии. Мы шли за Дроздовским, понимая тогда все это совершенно одинаково.

На походе мы узнали еще о другом отряде добровольцев. Один полковник собрал его в Измаиле и выступил вслед за нами. В селе Каменный Брод этот отряд нас догнал. Измаильский полковник был невысокого роста, с пристальными светло-серыми глазами. Он заметно приволакивал ногу. Мы узнали, что его фамилия Жебрак-Русакевич.

Полковник Жебрак был ранен в колено еще на японской войне, когда был офицером в одном из сибирских полков. Тогда же он получил орден Святого Георгия. На большую войну он пошел добровольцем; был он военным судьей, но подал рапорт о зачислении в

действующую армию и получил полк Балтийской дивизии, стоящей тогда по гирлам Дуная. Он принес нам знамя Балтийской дивизии, морской Андреевский флаг с синим крестом. Андреевский флаг стал полковым знаменем нашего стрелкового офицерского полка.

На походе мы встречали эшелоны германцев и австрийцев, тянувшиеся к югу. Под Каховкой германцы предложили нам свою помощь. Отличный германский взвод с пулеметом на носилках уже подошел к нам по глубокому песку. Германских пулеметчиков мы поблагодарили, но сказали, что огня открывать не надо. На паромах мы перевалили через Южный Буг, а Днепр перешли у Каховки, с которой нам суждено было встретиться снова, в самом конце нашей борьбы. С короткого боя мы взяли Акимовку, где уничтожили отряд матросов-коммунистов, ехавших эшелоном в Крым. С боя заняли Росаново и захватили Мелитополь.

В Мелитополе мы мобилизовали сапожников и портных, на складах военно-промышленного комитета нашли запасы защитного сукна, отлично оделись и обулись. Там же были сформированы две команды – мотоциклистов-пулеметчиков и мотоциклистов-разведчиков.

Стояла сильная весна. Все купалось в радостном свете. Зелено-дымная степь звенела, дышала. Это был благословенный гул жизни, как бы подтверждавший, что и мы все идем для одного того, чтобы утвердить в России благоденствие.

И вот после двухмесячного похода, после тысячи двухсот верст пути появились мы со всей нашей артиллерией и обозами под Ростовом, точно из самой зеленой степи чудесно выросло наше воинство.

Команде мотоциклистов-разведчиков дано было задание выяснить силы большевиков в Ростове и установить, где они сосредоточены. Разведчик-мотоциклист юнкер Анатолий Прицкер превосходно выполнил боевое задание: по его докладу была выдвинута куда следует артиллерия, дано направление движению войск, и полковник Войналович начал наступать на Ростов.

В страстную субботу, 22 апреля 1918 года, вечером, началась наша атака Ростова. Мы заняли вокзал и привокзальные улицы. На вокзале, где от взрывов гремело железо, лопались стекла и ржали лошади, был убит пулей на перроне доблестный начальник штаба нашего отряда Генерального штаба полковник Войналович. Он первый со 2-м конным полком атаковал вокзал. За ним подошла наша вторая офицерская рота. Большевики толпами потекли на Батайск и Нахичевань.

Ночь была безветренная, теплая, прекрасная – воистину святая ночь. Одна полурота осталась на вокзале, а с другой я дошел по ночным улицам до ростовского кафедрального собора. В темноте сухо рассыпалась редкая ружейная стрельба. На улицах встречались горожане-богомольцы, шедшие к заутрене. С полуротой я подошел к собору; он смутно пылал изнутри огнями. Выслав вперед разведку, я с несколькими офицерами вошел в собор.

Нас обдало теплотой огней и дыхания, живой теплотой огромной толпы молящихся. Все лица были освещены снизу, таинственно и чисто, свечами. Впереди качались, сияя, серебряные хоругви: крестный ход только что вернулся. С амвона архиерей в белых ризах возгласил:

– Христос воскресе!

Молящиеся невнятно и дружно выдохнули:

– Воистину…

Мы были так рады, что вместо боя застали в Ростове светлую заутреню, что начали осторожно пробираться вперед, чтобы похристосоваться с владыкой. А на нас сквозь огни свечей смотрели темные глаза, округленные от изумления, даже от ужаса. С недоверием смотрели на наши офицерские погоны, на наши гимнастерки. Никто не знал, кто мы. Нас стали расспрашивать шепотом, торопливо. Мы сказали, что белые, что в Ростове Дроздовский. Темные глаза точно бы потеплели, нам поверили, с нами начали христосоваться.

Я вышел из собора на паперть. Какая ночь, святая тишина! Но вот загремел, сотрясая воздух, пушечный гром. Со стороны Батайска стреляет бронепоезд красных. Каким странным показался мне в эту ночь гул пушечного огня, находящий шум снарядов.

От собора я с полуротой вернулся на вокзал. По улице, над которой гремел пушечный огонь, шли от заутрени люди. Они несли горящие свечи, заслоняя их рукой от дуновения воздуха. Легкими огоньками освещало внимательные глаза.

На вокзале, куда мы пришли, в зале первого класса теперь тоже теплились церковные свечи, и от их огней все стало смутно и нежно. Ростовцы пришли нас поздравлять на вокзал. Здесь были пожилые люди и седые дамы, были девушки в белых платьях, только что от заутрени, дети, молодежь. Нам нанесли в узелках куличей и пасок. На некоторых куличах горели тоненькие церковные свечи. Обдавая весенним свежим воздухом, с нами христосовались. Все говорили тихо. В мерцании огней все это было как сон. Тут же, на вокзале, к нам записывались добровольцы, и рота наша росла с каждой минутой.

В два часа ночи на вокзал приехал Дроздовский. Его обступили, с ним христосовались. Его сухощавую фигуру среди легких огней и тонкое лицо в отблескивающем пенсне я тоже помню, как во сне. И как во сне, необычайном и нежном, подошла к нему маленькая девочка. Она как бы сквозила светом в своем белом праздничном платье. На худеньких ручках она подала Дроздовскому узелок, кажется с куличом, и внезапно, легким детским голосом, замирающим в тишине, стала говорить нашему командиру стихи. Я видел, как дрогнуло пенсне Дроздовского, как он побледнел. Он был растроган. Он поднял ребенка на руки, целуя маленькие ручки.

Уже светало, когда вокзал опустел от горожан. А на самом рассвете большевики подтянули подкрепления из Новочеркасска. В те мгновения боя, когда мы несли тяжелые потери, к Дроздовскому прискакали немецкие кавалеристы. Это были офицеры германского уланского полка, на рассвете подошедшего к Ростову. Германцы предложили свою помощь. Дроздовский поблагодарил их, но помощь принять отказался.

Мы стали отходить на армянское село Мокрый Чалтырь. На поле у дороги мы встретили германских улан. Все они были на буланых конях, в сером, и каски в серых чехлах, у всех желтые сапоги. Их полк стоял в колоннах. Ветер трепетал в уланских значках.

Когда мы с нашими ранеными проходили мимо, раздались короткие команды, слегка поволновались кони, перелязгнуло, сверкнуло оружие, и германский уланский полк отдал русским добровольцам воинскую честь. Тогда мы поняли, что война с Германией окончена.

В Мокром Чалтыре в первый день Пасхи командир нашего офицерского полка генерал Семенов передал полк новому командиру полковнику Жебраку-Русакевичу. В этот же день до нас дошли слухи, что в Новочеркасске идет бой между красными и восставшими казаками. Полк выступил в Новочеркасск.

Когда мы внезапно показались под городом, он уже почти был оставлен восставшими донцами, державшимися только на окраинах. Красные наступали. На наступающих двинулась наша кавалерия, бронеавтомобиль и конно-горная батарея. Нас не ждали ни донцы, ни красные. Наша атака обратила красных в отчаянное бегство.

На третий день Пасхи, 25 апреля 1918 года, Новочеркасск был освобожден.

Земля обетованная

Как и в другие города, после освобождаемые нами, мы точно несли с собой весеннее солнце. Солнце всегда было нашим союзником. Союзником большевиков была зимняя стужа.

Мы вошли в Новочеркасск по приказу донского походного атамана Попова, когда восставшие казаки еще отбивались от красных на горевшей от артиллерийского огня Хотунке. Красных вместе с нами со стороны города атаковало несколько лихих казачьих сотен, а со стороны Александро-Грушевска подоспел на призыв Попова донской отряд полковника Семилетова.

С офицерской ротой я уже колесил по улицам. Это была военная хитрость донского командования. Нас было мало, но мы должны были проходить так, чтобы наше появление в разных местах города могло создать впечатление, будто бы нас много.

Последний двенадцатичасовой переход всех измотал. Серые от пыли, с лицами, залитыми потом, мы медленно, но стройно проходили по улицам. Светлое неистовство творилось крутом. Это было истинное опьянение, радость освобождения. Все это незабвенно. Мы как бы сбросили со всех темное удушье, самую смерть, все снова увидели, что живы, свободны, что светит солнце. Наши ряды не раз расстраивались. Женщины, старики обнимали нас, счастливо рыдали.

Наш капитан с подчеркнутым щегольством командовал ротой, сверкали триста двадцать штыков, и, как говорится, дрожала земля от крепкого шага.

– Христос воскресе! Христос воскресе! – обдавала нас толпа теплым гулом.

– Воистину воскресе! – отвечали мы дружно.

Надо сказать, что особенно строго берегли мы винтовки: они горели от блеска, всегда были тщательно смазаны. Магазинную часть, затвор мы хранили как хрупкое сокровище. На походе нам разрешалось обматывать магазинную коробку суконками и тряпьем, затвор своей винтовки я, например, обматывал, должен признаться, холщовой штаниной от солдатских исподников.

Не с тряпьем же на винтовках входить в Новочеркасск – командир роты приказал наши фантастические чехлы снять, я сунул мою солдатскую штанину в карман.

Так мы колесили в тот день по улицам. Кругом улыбающиеся, заплаканные лица. Ко мне подошла пожилая дама с двумя девочками:

– Разрешите с вами похристосоваться.

А у меня лицо в поту, и пыль в палец толщиной. Смущенный, я сунул руку в карман за платком, вытянул эту штанину, измазанную ружейным маслом, и по рассеянности стал вытирать ею лицо. Рота заметила мой просак и скромно отвела глаза. А в толпе, вероятно, думали, что так и полагается, чтобы походный офицер черт знает что вытаскивал из карманов вместо платка. В общем, я благополучно расцеловался с юными горожанками.

Вечером нам отвели для постоя пустые дортуары Новочеркасского девичьего института, так как все казармы в городе были заняты. В тот, помнится, день я получил в командование вторую офицерскую роту. А в институте, в верхних дортуарах, жило до пятидесяти подростков и девочек, сирот-институток. Соседство было совершенно нечаянное.

Когда мы впервые увидели в зале двух пепиньерок в белых передниках, промчавшихся по блестящему паркету, они показались нам трогательным видением. Полковник Жебрак вызвал к себе командиров и, пощипывая усы, окинул всех светлыми глазами.

– Господа, – сказал он, – мы все бывалые солдаты. Но стоянка в девичьем институте на мой, по крайней мере, век выпадает впервые. Впрочем, каждый из вас, без сомнения,

отлично знает обязанности офицера и джентльмена, которому оказано гостеприимство сиротами-хозяйками.

Мы разместились на ночлег, а на другой день обедали побатальонно в институтской столовой. Сильные, молодые, освеженные после похода, крепко печатая шаг, тронулись мы – восемьсот шесть штыков – за командиром батальона в институтскую столовую, чувствуя себя в парах если и не институтками, то кадетами.

– Стой, на молитву! – послышался голос командира. Всей грудью мы пропели молитву. Правда, точно к нам вернулась кадетская юность.

С веселым шумом мы расселись за громадными столами. Уже захрустела кое у кого на зубах поджаристая хлебная корка. Обедали мы в три смены. Командир батальона, ротные командиры и начальница института сидели отдельно, на возвышении, совершенно так, как воспитатели в столовой кадетского корпуса. Щи и кашу разносили по столам институтки. Были трогательны эти наклоняющиеся девичьи головы в мелко заплетенных косах, свежие лица сирот в белоснежных пелеринках.

Седой Жебрак, командир 2-го офицерского стрелкового полка, был, кажется, самым пожилым среди нас. Он вызывал к себе общее уважение. В офицерской роте было до двадцати георгиевских кавалеров, все перераненные, закаленные в огне большой войны; рядовыми у нас были и бывшие командиры батальонов, но Жебрак ввел для всех железную дисциплину юнкерского училища или учебной команды. В этом он был непреклонен. Он издавал нас заново. Он заставлял переучивать уставы, мы должны были снова узнать их до самых тонкостей. Он сам экзаменовал:

– Господин поручик, обязанности рядового в рассыпном строю?

Иной господин поручик, георгиевский кавалер со шрамами на лице, начинал мяться, тогда суровый командир приказывал:

– Растолкуйте ему…

Для нас были установлены расписания занятий. Ночью, после похода, усталые, отбиваясь со всеми силами от могучего сна, мы торопились прочесть, что следовало наутро знать по книжному уставу.

Пуговица ли, шаг, винтовка – полковник Жебрак видел все. И он умел себя так поставить, что даже старшие офицеры не решались спрашивать у него разрешения закурить. Все воинское он доводил до великолепного совершенства. Это была действительно школа.

Роты в Новочеркасске поднимались в половине седьмого, но ротный командир должен был вставать на час раньше. И вот среди самого сладкого сна в потемках рассвета слышишь стук в дверь и настойчивый голос:

– Разрешите войти?

Разрешаешь. Входит сам командир и любезно осведомляется, изволил ли встать ротный командир. Конечно, вылетаешь с койки пулей.

Вскоре все хорошо поняли полковника Жебрака, и 2-й офицерский стрелковый полк стал образцовым полком, может быть, до того и не бывалым ни в одной армии мира.

А на дворе был май. Все так легко, светло: дуновение ветра в акациях, солнце, длинные тени на провинциальном бульваре, мягком от пыли, стук калиток, молодой смех, далекая военная музыка и вечерние зори «с церемонией», торжественное «Коль славен». Удивительно свежи все эти воспоминания о Новочеркасске, названном в одном из приказов Дроздовского «нашей землей обетованной».

Через неделю после освобождения города донским атаманом избрали генерала Петра Николаевича Краснова. На площади, у Кадетской рощи, был большой парад. Наш отряд построился на правом фланге.

Точно еще стояла пасхальная неделя, так все было празднично на параде. Командующий Донской армией генерал Денисов подскакал к нам. По лицу донского генерала мы

видим, что он не знает, здороваться или нет: а вдруг господа офицеры не ответят. Ведь по уставу офицеры из строя не обязаны отвечать на приветствие.

– Здравствуйте, господа, – нерешительно сказал он.

– Здравия желаем, ваше превосходительство! – с подчеркнутой юнкерской лихостью, как один, ответили мы.

Генерал ободрился, повеселел. Он поскакал к атаману Краснову, который уже показался в конце площади верхом на рослом коне. Краснов направил коня к нашему флангу, держа руку под козырек. Оркестр заиграл «встречу». Генерал Денисов подскакал к атаману и, наклоняясь с седла, сказал довольно громко:

– Они здороваются, ваше превосходительство.

Тогда генерал Краснов, все еще держа руку под козырек, сказал нам приветливо:

– Здравия желаю, господа офицеры.

Мы снова загремели в ответ.

Отряд был пропущен церемониальным маршем. Кругом радостные лица, нам машут платками, бросают белые цветы.

Это были удивительные дни подъема. В Новочеркасск приходило так много добровольцев, что дней через десять мы смогли развернуться в три батальона. А на нашу вечернюю поверку, на зорю «с церемонией», стекался весь город.

Отряд с оркестром выстраивался на институтском плацу. Фельдфебели начинали перекличку, потом оркестр играл «Коль славен». Полк пел молитву, В прекрасный летний вечер, казалось, весь затихший город стоит с нами на молитве, а когда мы трогались с плаца, все тихо шли за нами, под старинный егерский марш, который стал нашим полковым маршем.

Помню, как однажды под вечер я вел мою роту в городской караул. Наши офицерские роты всегда были образцово строевыми. Идти не в ногу для нас было просто неприличием. Мы шли великолепно. На панели я увидел старика-генерала в поношенной шинели и скомандовал:

– Смирно, господа офицеры!

Старик вдруг заплакал, прислонясь к забору. Я подошел узнать, что с ним. Генерал сказал, что он бывший начальник Павловского военного училища, что мы его взволновали.

– Ваша рота идет так, как ходила рота Его Величества…

Нас было уже тысячи три, но на батальон готовила только одна кухня, и вот почему: ровно в полдень мы все расходились по частным домам, приглашенные на обеды. В Новочеркасске мы стали всем родными.

Никто не думал о том, что ждет нас дальше, точно вот так и будет длиться эта мирная музыка, милые встречи в провинциальных семьях, прогулки под акациями и пение «Коль славен» в светящиеся вечера.

Недели через две в нашем полку начались свадьбы. Что ни день, то свадьба. За три недели стоянки в Новочеркасске у нас было сыграно более пятидесяти свадеб. Мы породнились со всем городом. Какой простой, человеческой, могла бы быть наша мирная жизнь на русской земле, если бы большевики не потоптали всю русскую жизнь.

К концу стоянки донское командование просило нас остаться в составе Донской армии. Нам предложили быть Донской пешей гвардией. Полковник Дроздовский поблагодарил за предложение, но приказал нам готовиться к походу на соединение с Добровольческой армией, стоявшей тогда под станицей Мечетинской.

Это было в конце мая. Нашим юным хозяйкам, новочеркасским институткам, мы дали прощальный бал. Я не забуду полонеза, когда полковник Жебрак, приволакивая ногу, шел в первой паре с немного чопорной начальницей института; не забуду белые бальные платья институток, такие скромные и прелестные, и длинные белые перчатки, впервые на девичьих руках.

Бал был торжественным и немного грустным. Я вижу в полонезе сухопарого рыжеусого Димитраша, с зелеными смеющимися глазами. Он был безнадежно влюблен во всех институток вместе. Я вижу простые и хорошие русские лица всех других, слышу смех, голоса. Немногие из них, очень немногие, остались среди живых.

В полночь на балу случилось замешательство: начальница отослала в спальни младших воспитанниц. Оркестр умолк. Как бы померкли самые огни люстр. Послышались подавленные детские рыдания. Лица институток стали белее их накидок.

Никогда мы не видели полковника Жебрака таким виноватым и растерянным: шутка ли сказать, он просил начальницу нарушить институтские правила и разрешить малышам остаться. Но начальница была непреклонна. Мать двух офицеров – один был убит, а другой, герой, награжденный золотым оружием, пропал в бою без вести, – начальница была так же неумолима в институтском распорядке, как Жебрак в полковом.

Просил начальницу и я. Отказ. Я стоял перед седой старой дамой в шелковом платье с бриллиантовым вензелем на плече, как перед командиром полка, во фронт. Она доказывала мне, что правила нарушать нельзя.

– Так точно, слушаюсь, – только отвечал я.

Удивительнее всего, что это и подействовало. Начальница слегка улыбнулась и внезапно разрешила всем воспитанницам остаться еще на несколько танцев, а обо мне отозвалась с благосклонностью – «какой воспитанный капитан», – вероятно, за то, что я стоял перед ней во фронт, каблуки вместе.

Светлее стали огни, обрадовался оркестр, наши заплаканные хозяйки положили руки на плечи кавалеров и замелькали, снова понеслись в танце, обдавая прохладой и шумом.

Хромой Жебрак, влюбленный Димитраш, вся наша молодежь страшно бережно, ступая немного по-журавлиному, водили в танце малышей, едва перебирающих туфельками, еще заплаканных, но уже счастливых. Все мы с затаенной печалью слушали детский смех на нашем последнем балу.

А на рассвете во дворе института поставили аналой, и в четыре часа утра по опустевшим залам, где еще носился запах духов, отбивая шаг, мы вышли на плац и в походном снаряжении стали покоем у аналоя. В ту ночь в институте не спал никто.

Ясная заря над тихой площадью, где был чуть влажен песок, щебет птиц. Во всем утренний покой, а полковой батюшка читает напутственную в поход молитву. Институтский плац был полон молодых женщин и девушек с их матерями. Это были молодые жены и невесты, пришедшие прощаться. Никто из них не скрывал слез. У аналоя белой стайкой жались институтские сироты. Они рыдали над нами безутешно. Я помню бледное лицо молодого офицера моей роты Шубина, помню, как он склонился к юной девушке. Все эти дни Шубин носил куда-то букеты свежих роз, однажды мне даже пришлось посадить его под арест. Он прощался со своей невестой. Ему, как и ей, едва ли было девятнадцать. Его убили под Армавиром.

Плавно запел егерский марш. Короткие команды. Мы пошли, твердо, с ожесточением отбивая ногу. Скрежетало оружие, звякали котелки. А мимо нас, как бы качаясь, уходила толпа, широкий песчаный проспект, низкие дома, длинные Утренние тени, тянувшиеся поперек улицы. Уходил наш последний мирный дом, земля обетованная, наша юность, утренняя заря…

Суховей

Нас погрузили в вагоны, потом на пароход. В безветренное утро мы подошли к станице Мечетинской. В двух станицах, Мечетинской и Егорлыкской, стояло тогда все, что осталось от русской армии: Добровольческая армия, только что вышедшая из испытаний Кубанского похода. Это был конец мая 1918 года.

Запыленные, рота за ротой, подчеркнуто стройно, чтобы показать себя корниловским добровольцам, входили мы в станицу. Генерал Алексеев пропустил нас церемониальным маршем. Мы все с молодым любопытством смотрели на этого маленького сухонького генерала в крохотной кубанке.

Старичок в отблескивающих очках, со слабым голосом, недавно начальник штаба самой большой армии в мире, поведший теперь за собой куда-то в степь четыре тысячи добровольцев, был для нас живым олицетворением России, армии, седых русских орлов, как бы снова вылетающих из казацких степей.

Генерал Алексеев снял кубанку и поклонился нашим рядам.

– Спасибо вам, рыцари духа, пришедшие издалека, чтобы влить в нас новые силы…

Я помню, как говорил генерал Алексеев, что к началу смуты в русской армии было до четырехсот тысяч офицеров. Самые русские пространства могли помешать им всем прийти на его призыв. Но если придет только десятая часть, только сорок тысяч, уже это создаст превосходную новую армию, в которую вольется тысяч шестьдесят солдат.

– А стотысячной русской армии вполне достаточно, что бы спасти Россию, – сказал генерал Алексеев со слабой улыбкой, и его очки блеснули.

Мы еще раз прошли церемониальным маршем. Он стоял с кубанкой в руке, слегка склонив седую голову. Точно задумался. Рядом с ним стоял генерал Деникин; наши старые офицеры знали, что на большой войне он командовал славной Железной 4-й стрелковой дивизией.

Добровольцы, участники Кубанского похода, смотрели на нас с откровенным удивлением, пожалуй, даже с недоверием: откуда-де такие явились, щеголи, по-юнкерски печатают шаг, одеты, как один, в защитный цвет, в ладных гимнастерках, хорошие сапоги.

Сами участники Кубанского похода были одеты, надо сказать, весьма пестро, что называется, по-партизански. В степях им негде было достать обмундирование, а мы в нашем походе шли по богатому югу, где были мастерские и склады.

Мы стали в станице Егорлыкской. Там на самой последней неделе мая меня вызвали в штаб к полковнику Жебраку. Я проверил, крепко ли держатся пуговицы на гимнастерке, хорошо ли оттянут пояс, и отправился в штаб.

– Господин полковник, по вашему приказанию прибыл.

– Здравствуйте, капитан, – озабоченно сказал Жебрак. – Вот что: хутор Грязнушкин занят большевиками. Главное командование приказало мне восстановить положение. Вместо казачьей бригады я решил послать туда вашу роту. Вы знаете почему?

– Никак нет.

– Вторая рота лучшая в полку.

– Рад стараться.

– Имейте в виду, что офицерская рота может отступать и наступать, но никогда не забывайте, что и то и другое она может делать только по приказанию.

– Слушаю. Разрешите идти?

– Да. Я буду у вас к началу атаки. До моего приезда не атакуйте… И вот что еще, Антон Васильевич… В японскую войну наш батальон, сибирские стрелки, атаковал как-то китайское кладбище. Мы ворвались туда на штыках, но среди могил нашли около ста японских

тел и ни одного раненого. Японцы поняли, что им нас не осилить, и, чтобы не сдаваться, все до одного покончили с собой. Это были самураи. Такой должна быть и офицерская рота.

– Разрешите идти?

Жебрак встал, подошел ко мне – он был куда ниже меня – и молча пожал мне руку.

Я вышел на тихую станичную улицу. Кажется, предстоял первый настоящий бой в Гражданской войне. Я почувствовал ту особую сухую ясность, какая всегда бывает перед боем.

Мои триста штыков бесшумно и быстро подошли к хутору Грязнушкину. Хутор лежал в низине. Это было для нас удобно: нас не заметили. Но вот там зашевелились, затрещал ружейный огонь. Я рассыпал роту в цепь, скомандовал:

– Цепь, вперед!

Цепь кинулась с коротким «ура». Застучали пулеметы. С хутора поднялась беспорядочная стрельба, вой. Но мы уже ворвались. Грязнушкин был захвачен почти мгновенно. Один взвод и бронеавтомобиль «Верный» преследовали красных. Мы заняли холмы впереди хутора. Нам досталось триста пленных: ободранные, грязные товарищи, бледные от страха, в расстегнутых шинелях, потные после боя.

В атаке был убит поручик Куров, который так беззаботно танцевал на недавнем балу, так приятно смеялся и пел. Он лежал на боку, прижавшись щекой к земле; его висок был черен от крови. Это была наша первая потеря в боях Добровольческой армии.

На хутор пришли наши кубанцы. Я собрал роту. Люди еще порывисто дышали, смеялись, громко говорили, возбужденные атакой. Было за полдень, солнце припекало. Мне доложили, что едет командир полка.

– Смирно, равнение направо, господа офицеры!

Полковник Жебрак уже шел перед рядами, лицо хмурое. Я отрапортовал ему об успешной атаке.

– Но почему вы не исполнили моего приказания?

– Господин полковник?

– Я приказал вам ждать моего приезда, без меня не начинать боя…

Он повысил голос. Он, что называется, распекал меня перед строем. Я ответил:

– Господин полковник, начальником здесь был я, обстановка же была такова, что я не мог ждать вашего приезда.

Командир пощипывал ус. Потом лицо его просветлело, и он сказал просто:

– Конечно, вы правы, капитан. Простите меня. Я погорячился.

В тот же день от хутора Грязнушкина мы вернулись в станицу Егорлыкскую, на старые квартиры, а через несколько дней выступили оттуда во второй Кубанский поход.

Мы стали пробиваться от станицы к станице. Бои разгорались. Как будто степной пожар все чаще прорывался языками огня, чтобы слиться в одно громадное пожарище. Гражданская война росла. Похудевшие, темные от загара, с пытливыми глазами, всегда настороженные, всегда с ясной головой, мы шли, порывисто дыша, от боя к бою, в огне. Между нами уже запросто ходила смерть, наша постоянная гостья.

В самом конце мая мы атаковали село Торговое. Под огнем красных два наших батальона лежали под селом в цепи. Огонь был бешеный, а солнце немилосердно жгло нам затылки. Дали сигнал готовиться к атаке. Вдруг мы увидели, что к нам в цепь скачут с тыла три всадника.

Огонь стал жаднее, красные били по всадникам. С веселым изумлением мы узнали полковника Жебрака на крутозадом сером жеребце. Его укороченная нога не касалась стремени, с ним скакало два ординарца. Командир дал шпоры и вынесся вперед, за цепи. Он круто повернул к нам коня. Два батальона смотрели на него с радостным восхищением.

– Господа офицеры! – бодро крикнул Жебрак. – За мной, в атаку! Ура! – и поскакал с ординарцами вперед.

Все поднялись; три всадника вспыхивали на солнце. Мы захватили село Торговое с удара.

Все эти ночи и дни, все бои, когда мы шли в огонь во весь рост, все эти лица в поту и в грязи, сиплое «ура», тяжелое дыхание, кровь на высохшей траве, стоны раненых – все это вспоминается мне теперь вместе с порывами сухого и жаркого ветра из степи: его зовут, кажется, суховеем.

Я помню, как в бою под Великокняжеской, когда я подводил мою роту к железнодорожному мосту, в окне сторожевой будки блеснул шейный орден Святого Георгия. Я понял, что там Главнокомандующий, так как Ордена святого Георгия третьей степени тогда в Добровольческой армии, кроме как у генерала Деникина, не было ни у кого. Я скомандовал роте:

– Смирно! Равнение направо!

В том бою под Великокняжеской был убит мой боевой товарищ, мой друг, командир четвертой донской сотни, офицер гвардейской казачьей бригады есаул Фролов. Ловкий, поджарый, как будто весь литой, он был знаменитым джигитом, с красивым молодечеством, с веселым удальством, какого, кроме казаков, нет, кажется, ни у кого на свете.

Мы заняли Великокняжескую, Николаевскую, Песчанокопскую, подошли к Белой Глине и под Белой Глиной натолкнулись на всю 39-ю советскую дивизию, подвезенную с Кавказа. Ночью полковник Жебрак сам повел в атаку 2-й и 3-й батальоны. Цепи попали под пулеметную батарею красных. Это было во втором часу ночи. Наш 1-й батальон был в резерве. Мы прислушивались к бою. Ночь кипела от огня. Ночью же мы узнали, что полковник Жебрак убит со всеми чинами его штаба.

На рассвете поднялся в атаку наш 1-й батальон. Едва светало, еще ходил туман. Командир пулеметного взвода 2-й роты поручик Мелентий Димитраш заметил в утренней мгле цепи большевиков. Я тоже видел их тени и перебежку в тумане. Красные собирались нас атаковать.

Димитраш – он почему-то был без фуражки, я помню, как ветер трепал его рыжеватые волосы, помню, как сухо светились его зеленоватые рысьи глаза, – вышел с пулеметом перед нашей цепью. Он сам сел за пулемет и открыл огонь. Через несколько мгновений цепи красных легли. Димитраш с его отчаянным, дерзким хладнокровием был удивительным стрелком-пулеметчиком. Он срезал цепи красных.

Корниловцы уже наступали во фланг Белой Глины. Мы тоже пошли вперед. 39-я советская дрогнула. Мы ворвались в Белую Глину, захватили несколько тысяч пленных, груды пулеметов. Над серой толпой пленных, над всеми нами дрожал румяный утренний пар. Поднималась заря. Багряная, яркая.

Потери нашего полка были огромны. В ночной атаке 2-й и 3-й батальоны потеряли больше четырехсот человек. Семьдесят человек было убито в атаке с Жебраком, многие, тяжело раненные, умирали в селе Торговом, куда их привезли. Редко кто был ранен одной пулей – у каждого три-четыре ужасные пулевые раны. Это были те, кто ночью наткнулся на пулеметную батарею красных.

В поле, где только что промчался бой, на целине, заросшей жесткой травой, утром мы искали тело нашего командира полковника Жебрака. Мы нашли его среди тел девяти офицеров его верного штаба.

Командира едва можно было признать. Его лицо, почерневшее, в запекшейся крови, было размозжено прикладом. Он лежал голый. Грудь и ноги были обуглены. Наш командир был, очевидно, тяжело ранен в атаке. Красные захватили его еще живым, били прикладами, пытали, жгли на огне. Его запытали. Его сожгли живым. Так же запытали красные и многих других наших бойцов.

В тот глухой предгрозовой день, когда полк принял маленький и спокойный, с ясными глазами полковник Витковский, мы хоронили нашего командира. Грозные похороны, давящий день. Нам всем как будто не хватало дыхания. Над степью курился туман, блистало жаркое марево. Далеко грохотал гром.

В белых, наскоро сбитых гробах двигались перед строем полка наш командир и семьдесят его офицеров. Телеги скрипели. Над мокрыми лошадьми вился прозрачный пар. Оркестр глухо и тягостно бряцал «Коль славен». Мы стояли на караул. В степи ворочался глухой гром. Необычайно суровым показался нам наш егерский марш, когда мы тронулись с похорон.

В тот же день, тут же на жестком поле, пленные красноармейцы были рассчитаны в первый солдатский батальон бригады.

Ночью ударила гроза, сухая, без дождя, с вихрями пыли. Я помню, как мы смотрели на узоры молнии, падающие по черной туче, и как наши лица то мгновенно озарялись, то гасли. Эта грозовая ночь была знамением нашей судьбы, судьбы белых бойцов, вышедших в бой против всей тьмы с ее темными грозами.

Если бы не вера в Дроздовского и в вождя белого дела генерала Деникина, если бы не понимание, что мы бьемся за человеческую Россию против всей бесчеловечной тьмы, мы распались бы в ту зловещую ночь под Белой Глиной и не встали бы никогда.

Но мы встали. И через пять суток, ожесточенные, шли в новый бой на станицу Тихорецкую, куда откатилась 39-я советская. В голове шел 1-й солдатский батальон, наш белый батальон, только что сформированный из захваченных красных. Среди них не было старых солдат, но одни заводские парни, чернорабочие, бывшие красногвардейцы. Любопытно, что все они радовались плену и уверяли, что советчина со всей комиссарской сволочью им осточертела, что они поняли, где правда.

Вчерашние красногвардейцы первые атаковали Тихорецкую. Атака была бурная, бесстрашная. Они точно красовались перед нами. В Тихорецкой 1-й солдатский батальон опрокинул красных, переколол всех, кто сопротивлялся. Солдаты батальона сами расстреляли захваченных ими комиссаров.

Дроздовский благодарил их за блестящую атаку. Тогда же солдатский батальон был переименован в 1-й пехотный солдатский полк. Позже полку было передано знамя 83-го пехотного Самурского полка, и он стал именоваться Самурским. Много славного и много тяжкого вынесли самурцы на своих плечах в Гражданской войне. Бои под Армавиром, под Ставрополем, когда ими командовал израненный и доблестный полковник Шаберт, бои в Каменноугольном районе, все другие доблестные дела самурцев не забудутся в истории Гражданской войны.

В ту ночь под Белой Глиной как бы открывалась наша судьба, но по-иному открылась судьба белых в бою под Тихорецкой, когда цепи вчерашних красных сами шли на красных в штыки, сами уничтожали комиссаров. Так еще и совершится.

Наша маленькая армия от боя к бою пробивалась вперед. В армии было всего три бригады. В первой бригаде – наше сердце, корниловцы, с 1-м конным офицерским полком, который после смерти генерала Алексеева стал именоваться Алексеевским. Во второй бригаде – марковцы с 1-м офицерским полком, в третьей бригаде – дроздовцы со 2-м офицерским полком, 2-м конным офицерским полком и самурцами. С бригадами были казачьи пластунские батальоны, а все конные казачьи части были в бригаде генерала Эрдели.

Под Кореневкой Сорокин со своей армией вышел к нам в тыл. Он едва не перерезал Добровольческую армию пополам. Вспоминаю в бою под Кореневкой командира третьего взвода поручика Вербицкого, светловолосого, сероглазого, со свежим лицом. Я был у его взвода, на левом фланге. Конница Сорокина во мгле пыли понеслась на взвод.

Вербицкий стал командовать металлическим резким голосом:

– По кавалерии, пальба взводом…

Конница Сорокина идет на карьере; уже слышен сухой топот.

– Отставить! – внезапно командует Вербицкий, и я слышу его окрик: – Поручик Петров, два наряда не в очередь…

Оказывается, поручик Петров, по прозвищу Медведь, своей поспешностью испортил стройность ружейного приема. А конница в нескольких сотнях шагов. Снова с ледяным хладнокровием команда Вербицкого:

– По кавалерии, пальба…

Кавалерию отбили. В тяжелых боях мы разметали Сорокина. В том бою под Кореневкой, 16 июля, я был впервые ранен в Гражданской войне. После трех немецких пуль русская пуля угодила мне в кость ноги. Рана была тяжелая.

Ночью был ранен командир первого батальона, и нас обоих отправили в околоток, оттуда в лазарет. Нас уговаривали ехать в Ростов, но мы, как и каждый дроздовец, стремились в свою землю обетованную, в Новочеркасск, о котором хранили светлую и благодарную память. Мы туда и тронулись, хотя все лазареты были там переполнены и недоставало врачей. У меня были сильные боли, потом как будто полегчало.

Все эти ночи и дни, атаки и гром над степью, и наши лица, обожженные солнцем и жалящей пылью, и наше сиплое «ура» – все это вспоминается мне теперь с порывами жаркого степного суховея.

Смерть Дроздовского

Командир первого батальона и я добрались до Новочеркасска. Прежде всего мы решили навестить наших майских хозяек, институток. Оба на костылях, мы подъехали на извозчике к скромному подъезду девичьего института. Мы везли с собой огромную корзину пирожных, за которую отдали все, что у нас было.

На подъезде швейцар, старый солдат с седыми баками и в медалях, нам сказал:

– Извините, господа офицеры, но у нас приемные дни только по средам и воскресеньям.

Мы и забыли, что фронт от Новочеркасска откатился, что в институте идут самые мирные занятия. Сказали швейцару, чтобы передал записку начальнице.

– Не приказано принимать никаких записок, – ответил швейцар.

А извозчик уже вносит в приемную корзину с пирожными. На верхней площадке показалась дежурная пепиньерка в сером платье. Она сбежала ниже, узнала нас, от изумления присела на ступеньку, раздув платье воздушным шаром, потом умчалась обратно.

Мы стояли в прихожей, слегка удивленные такой встречей. Тут на институтской лестнице показалось шествие, не только кричащее, но и визжащее, во главе с инспектрисой. Все что-то радостно кричали, хлопали в ладоши, прыгали вокруг нас. Мы твердо стояли на костылях во всем этом гаме.

Начальница института встретила нас как своих сыновей. Она едва скрывала слезы. Занятия были прерваны. Корзину торжественно внесли в столовую, и детвора в мгновение ока прикончила пирожные.

Я стал довольно беспечно путешествовать на костылях по всему Новочеркасску, хотя моя нога ныла все упорнее. Рана воспалилась. Мне хотелось вернуться к тому чувству мирного отдыха, которое все мы здесь испытали, хотелось забыть недавние бои, недавние смерти.

Вскоре к нам приехал Мелентий Димитраш. Через несколько дней после меня он был ранен в голову. Его рысий глаз дерзко и весело сверкал из-под повязки. Я всей душой был рад приезду боевого товарища. Приехала на свидание и моя мать, которую я не видел так долго. Она стала совершенно седой.

Мать привезла кучу денег, по тогдашним временам целое состояние, и мы, три мушкетера, беспечно зажили в Новочеркасске. Свободных коек в госпиталях не было. Мы лечились и жили в «Петербургской гостинице».

Однажды утром в мою дверь постучали. Вошел адъютант Дроздовского подполковник Николай Федорович Кулаковский. Он привез мне от Дроздовского два письма. Одно – «предписание капитану Туркулу немедленно с получением сего выбыть в Ростов для лечения в хирургическую клинику профессора Напалкова», другое – частное письмо от Михаила Гордеевича, в котором он указывал, что мое присутствие в полку до крайности необходимо, и дружески, но крепко журил меня за то, что я дурно лечу ногу.

Я просил Кулаковского повременить хотя бы день. Отказ, притом с металлическим польским акцентом. Тогда я предложил вместе позавтракать. Согласие, но все равно в тот же день я простился с матерью и в казенном автомобиле по предписанию выехал с Кулаковским в Ростов. Оба мои сожителя по гостинице тогда же вернулись в полк.

Помню, как Николай Федорович шутил, что конвоирует меня под профессорский арест. Помню его лицо, освещенное мелькающим солнцем, как он щурится от ветра. Необычен конец этого офицера: в 1932 году он был по ошибке застрелен в Болгарии македонцами. Убийцы приняли Кулаковского за другого.

Профессор Напалков, грубый с виду хирург, большой друг Дроздовского, принялся за меня в клинике неумолимо. Меня раздели и уложили. Все мои вещи были заперты в шкаф, а ключ от шкафа пасмурный профессор унес с собой. Так, запертым в клинике, мне пришлось пролежать три месяца, и если бы не профессорский арест и не строгое лечение, ногу мне, вероятно, отхватили бы.

Только к концу декабря 1918 года я мог снова ходить, правда, одна нога в сапоге, другая еще в валенке. Я отчаянно скучал в ростовской клинике. Профессор обещал меня выписать, я стал собираться в полк, но узнал, что в Ростов везут Дроздовского. Михаил Гордеевич был ранен 31 октября 1918 года под Ставрополем, у Иоанно-Мартинского монастыря. Рана пустячная, в ногу. Капитан Тер-Азарьев, снимавший вместе с другими офицерами Дроздовского с коня, рассказывал, что рана не вызывала ни у кого тревоги: просто поцарапало пулей. Все так и думали, что Дроздовский вскоре вернется к командованию.

Но рана загноилась. В Екатеринодаре он перенес несколько операций, после которых ему стало хуже. Он очень страдал и сам просил перевезти его в Ростов к профессору Напалкову. В Ростове было более пятидесяти раненых дроздовцев. Я собрал всех, кто мог ходить, и мы поехали на вокзал.

Дроздовского привезли в синем вагоне кубанского атамана. Я вошел в купе и не узнал Михаила Гордеевича. На койке полулежал скелет – так он исхудал и пожелтел. Его голова была коротко острижена, и потому, что запали щеки и заострился нос, вокруг его рта и ввалившихся глаз показалось теперь что-то горестное, орлиное.

Я наклонился над ним. Он едва улыбнулся, приподнял исхудавшую руку. Он узнал меня.

– Боли, – прошептал он. – Только не в двери. Заденут… У меня нестерпимые боли.

Тогда я приказал разобрать стенку вагона. Железнодорожные мастера работали почти без шума, с поразительной ловкостью. На руках мы вынесли Дроздовского на платформу. Подали лазаретные носилки. Мы понесли нашего командира по улицам. Раненые несли раненого.

Весть, что несут Дроздовского, мгновенно разнеслась по городу. За нами все гуще, все чернее стала стекаться толпа. На Садовой улице показалась в пешем строю гвардейская казачья бригада, лейб-казаки в красных и лейб-атаманцы в синих бескозырках. Мы приближались к ним.

Враз выблеснули шашки, замерли чуть дрожа: казаки выстроились вдоль тротуара. Казачья гвардия отдавала честь нашему командиру.

Тысячными толпами Ростов двигался за нами, торжественный и безмолвный. Иногда я наклонялся к желтоватому лицу Михаила Гордеевича. Он был в полузабытье, но узнавал меня.

– Вы здесь?

– Так точно.

– Не бросайте меня…

– Слушаю.

Он снова впадал в забытье. Когда мы внесли его в клинику, он пришел в себя, прошептал:

– Прошу, чтобы около меня были мои офицеры.

Раненые дроздовцы, для которых были поставлены у дверей два кресла, несли с того дня бессменное дежурство у его палаты. Михаила Гордеевича оперировали при мне. Я помню белые халаты, блестящие профессорские очки, кровь на белом и среди белого орлиное, желтоватое лицо Дроздовского. Я помню его бормотанье:

– Что вы мучаете меня… Дайте мне умереть…

– Если не пойдет выше, он останется жив, – сказал мне после операции профессор Напалков.

Дроздовскому как будто стало легче. Он пришел в себя. Тонкая улыбка едва сквозила на измученном лице, он мог слегка пожать мне руку своей горячей рукой.

– Поезжайте в полк, – сказал он едва слышно. – Поздравьте всех с Новым годом. Как только нога заживет, я вернусь. Напалков сказал, ничего, с протезом можно и верхом. Поезжайте. Немедленно. Я вернусь…

Одна нога в сапоге, другая в валенке, я немедленно поехал в полк. Это было в самом конце декабря. Полк стоял в Каменноугольном районе, в Никитовке-Горловке. Я приехал голодный, иззябший: еще на ростовском вокзале у меня вытащили последние деньги, и я ехал без копейки. Немедленно.

А 1 января 1919 года, в самую стужу, в сивый день с ледяным ветром, в полк пришла телеграмма, что генерал Дроздовский скончался. Он к нам не вернулся. Во главе депутации с офицерской ротой я снова выехал в Ростов. Весь город своим гарнизоном участвовал в перенесении тела генерала Дроздовского в поезд. Михаила Гордеевича, которому еще не было сорока лет, похоронили в Екатеринодаре. Позже, когда мы отходили на Новороссийск, мы ворвались в Екатеринодар, уже занятый красными, и с боя взяли тело нашего вождя.

Разные слухи ходили о смерти генерала Дроздовского. Его рана была легкая, неопасная. Вначале не было никаких признаков заражения. Обнаружилось заражение после того, как в Екатеринодаре Дроздовского стал лечить один врач, потом скрывшийся. Но верно и то, что тогда в Екатеринодаре, говорят, почти не было антисептических средств, даже йода.

После смерти Дроздовского 2-й офицерский полк, в котором я имел честь командовать 2-й ротой, получил шефство и стал именоваться 2-м офицерским генерала Дроздовского полком.

Так стали мы дроздовцами навсегда.

Дроздовцев, как и всех наших боевых товарищей, создала наша боевая, наша солдатская вера в командиров и вождей русского освобождения. В Дроздовского мы верили не меньше чем в Бога. Вера в него была таким же само собой понятным, само собой разумеющимся чувством, как совесть, долг или боевое братство. Раз Дроздовский сказал – так и надо и никак иначе быть не может. Приказ Дроздовского был для нас ни в чем не оспоримой, несомненной правдой.

Наш командир был живым средоточием нашей веры в совершенную правду нашей борьбы за Россию. Правда нашего дела остается для нас всех и теперь такой само собой понятной, само собой разумеющейся, как дыхание, как сама жизнь.

Шестьсот пятьдесят дроздовских боев за три года Гражданской войны, более пятнадцати тысяч дроздовцев, павших за русское освобождение, так же как бои и жертвы всех наших боевых товарищей, были осуществлением в подвиге и в крови святой для нас правды.

Не будь в нас веры в правоту нашего боевого дела, мы не могли бы теперь жить. Служба истинного солдата продолжается везде и всегда. Она бессрочна, и сегодня мы так же готовы к борьбе за правду и за свободу России, как и в девятнадцатом году. Полнота веры в наше дело преображала каждого из нас. Она нас возвышала, очищала. Каждый как бы становился носителем общей правды. Все пополнения, приходившие к нам, захватывало этим вдохновением.

Мы каждый день отдавали кровь и жизнь. Потому-то мы могли простить жестокую жебраковскую дисциплину, даже грубость командира, но никогда и никому не прощали шаткости в огне. Когда офицерская рота шла в атаку, командиру не надо было оборачиваться и смотреть, как идут. Никто не отстанет, не ляжет. Все идут вперед, и раз цепь вперед, командиры всегда впереди: там командир полка, там командир батальона.

Атаки стали нашей стихией. Всем хорошо известно, что такие стихийные атаки дроздовцев, без выстрела, во весь рост, сметали противника в повальную панику.

Наши командиры несли страшный долг. Как Дроздовский, они были обрекающими на смерть и обреченными. Всегда, даже в мелочах жизни, они были живым примером, живым вдохновением, олицетворением долга, правды и чести.

Потому-то и были возможны такие, например, случаи: ко мне, когда я уже командовал полком, после боя пришел один ротный командир, превосходный офицер, храбрец, георгиевский кавалер.

– Господин полковник, – сказал он, – отрешите меня от роты.

– Но почему?

– Господин полковник, я лег в атаке. Подойти к роте больше не могу. Стыдно.

И я должен был его отрешить…

Когда шла в бой офицерская рота, когда я чувствовал, как пытливо смотрят на меня двести пар глаз, я понимал один немой вопрос:

– А каков-то ты будешь в огне?

В огне спадают все слова, мишура, декорации. В огне остается истинный человек, в мужественной силе его веры и правды. В огне остается последняя и вечная истина, какая только есть на свете, божественная истина о человеческом духе, попирающем саму смерть.

Таким истинным человеком был Дроздовский.

Жизнь его была живым примером, сосредоточением нашего общего вдохновения, и в бою Дроздовский был всегда там, где, как говорится, просто нечем дышать.

Как часто его просили уйти из огня; роты, лежащие в цепи, кричали ему:

– Господин полковник, просим вас уйти назад…

Помню я, как и под Торговой Дроздовский в жестоком огне пошел во весь рост по цепи моей роты. По нему загоготали пулеметы красных. Люди, почерневшие от земли, с лицами, залитыми грязью и потом, поднимали из цепи головы и молча провожали Дроздовского глазами. Потом стали кричать, Дроздовского просили уйти. Он шел, как будто не слыша.

Понятно, что никто не думал о себе. Все думали о Дроздовском. Я подошел к нему и сказал, что рота просит его уйти из огня.

– Так что же вы хотите? – Дроздовский обернул ко мне тонкое лицо.

Он был бледен. По его впалой щеке струился пот. Стекла пенсне запотели, он сбросил пенсне и потер его о френч. Он все делал медленно. Без пенсне его серые запавшие глаза стали строгими и огромными.

– Что же вы хотите? – повторил он жестко. – Чтобы я показал себя перед офицерской ротой трусом? Пускай все пулеметы бьют. Я отсюда не уйду.

До атаки еще оставалось время. Под огнем я медленно шел с ним вдоль цепи, и незаметно для него мы дошли до железнодорожной насыпи и сели в пыльную траву. В эту минуту показался Жебрак.

Атака на Торговую началась. Дроздовский встал снова. Его пенсне сверкнуло снопами лучей.

И всегда я буду видеть Дроздовского именно так, во весь рост среди наших цепей, в жесткой, выжженной солнцем траве, над которой кипит, несется пулевая пыль.

Смерть Дроздовского? Нет, солдаты не умирают. Дроздовский жив в каждом его живом бойце.

Пурга

После похорон нашего командира я вернулся в полк, стоявший в Каменноугольном районе. Я получил в командование первый офицерский батальон. После смерти Дроздовского у всех в полку было чувство подавленной горечи. Ни песен, ни смеха. Как будто все постарели. Начинался жестокий девятнадцатый год.

В глухой зимний день я работал один до позднего времени в штабе батальона. Вдруг слышу знакомый голос:

– Ваше высокоблагородие, разрешите войти?

Я и глазам не поверил: входит, по уставу, ефрейтор Курицын; подтянут, рыжие волосы расчесаны, усы нафабрены, но, кажется, слегка пьян.

Ефрейтор Курицын, мой вестовой с большой войны, остался, как я уже рассказывал, в Тирасполе у моей матери. Теперь мой «верный Ричарда», Иван Филимонович, приехал служить со мной «как допрежде на Карпатах» и покидать меня больше не желал. Он привез мне вести о матушке и все домашние новости.

Из переданных писем я узнал о конце моего брата Николая. Нечто лермонтовское, романтическое, было для меня всегда в фигуре и в жизни моего младшего брата. Сибирский стрелок, бесстрашный офицер, георгиевский кавалер, он в 1917 году лечился в Ялте после ранения в грудь. Это было его третье ранение в большой войне.

В Ялте – узнал я из писем – во время восстания против большевиков Николай командовал восставшими татарами. Он был ранен на улице, у гостиницы «Россия». Женщина, которую мой брат любил, подобрала его там и укрыла на своей даче. Она отвезла его в госпиталь, стала ходить за ним сиделкой.

Тогда-то пришел в Ялту крейсер «Алмаз» с матросами. В Ялте начались окаянные убийства офицеров. Матросская чернь ворвалась в тот лазарет, где лежал брат. Толпа глумилась над ранеными, их пристреливали на койках. Николай и четверо офицеров его палаты, все тяжело раненные, забаррикадировались и открыли ответный огонь из револьверов.

Чернь изрешетила палату обстрелом. Все защитники были убиты. «Великая бескровная» ворвалась. В дыму, в крови озверевшие матросы бросились на сестер и на сиделок, бывших в палате. Чернь надругалась и над той, которую любил мой брат.

За этими письмами я думал о моей матери и о невесте Николая. В дни глубокой горечи и раздумий я понял, что все матери и невесты замучены в России и что подняли мы борьбу не за одну свободную русскую жизнь, но и за самого человека.

В те горькие дни не раз утешал меня, вольно или невольно, мой ефрейтор Курицын, который принес с собою воздух покинутого дома, воспоминания о матери, о брате. До глубокой ночи толковали мы с ним о наших далеких, о наших человеческих временах. Курицын, впрочем, вскоре по старой привычке начал, что называется, зашибать, и иногда до того, что просто не стоял на ногах.

За такие солдатские грехи мне приходилось отправлять почтенного Ивана Филимоновича под винтовку. Он стоит под винтовкой, а сам горько плачет. Конечно, я с Иваном Филимоновичем довольно скоро мирился.

У Курицына была непоколебимая солдатская вера в мою счастливую звезду. Если я шел в бой, то, по его разумению, непременно будет победа. Позже, когда мы заняли Бахмут, остановились мы там на пивоваренном заводе. Я был в бою, а Курицын без помехи глушил на заводе пиво. К Бахмуту прорвались большевики. В городе заметались, вот-вот поднимется паника, Курицын же продолжал спокойно осушать бочонок; кони у него расседланы и вещи не собраны.

Бахмутцы кинулись к нему с расспросами.

– Будьте благонадежны, – покручивая рыжие усы, успокаивал всех этот новый Бахус. – Уж я вам говорю, что ничего не случится, когда Сам в бой поехал.

Иван Филимонович, как и солдаты, называл меня Самим.

Действительно, большевиков мы благополучно расшибли, и к часу ночи я вернулся на завод. Там все было освещено. В зале нас ждала толпа гостей и обильный праздничный ужин. В толпе штатских я заметил Курицына. Он был нагружен окончательно.

– Ты, братец, пьян, – сказал я, проходя.

– Никак нет, господин полковник.

Он пошатнулся, но встал по уставу. От его рыжих волос выпитое пиво, казалось, валило паром.

– Да ты посмотри на себя в зеркало…

Мне пришлось пообещать отправить Ивана Филимоновича утром под винтовку часа на три, но за него вступились все – хозяева и гости. Они-то и рассказали, как один Курицын, окруженный пивными бочками, своим невозмутимым спокойствием остановил бахмутскую панику.

Ефрейтор Курицын как обещался верно служить, так и служил до конца. В Каменноугольном районе Ивана Филимоновича свалил сыпняк. Ослабевшее сердце не выдержало, и верный ефрейтор отдал Богу солдатскую душу.

Всю тяжкую зиму девятнадцатого года мы бились в Каменноугольном районе за каждый клочок земли. Это было какое-то топтание в крови. Мы точно таяли с каждым днем. Нашим верным союзником было солнце. В солнечное время мы могли маневрировать. Одним маневрированием мы побеждали красных. Метели и вьюги, пурга всегда были нашими врагами. Нет ничего глуше, ничего безнадежнее русской метели, когда кажется, что исчезает все, весь мир, жизнь, и смыкается кругом воющая тьма.

Как часто смыкалась вокруг нас русская тьма. Железный ветер скрежетал в голом поле. Колючий снег бил в лицо. Снег заносил сугробами наших мертвецов. Мы были одни, и нас было немного в студеной тьме. Вся Россия как будто бы исчезла в метели, онемела, и отзывалась она нам волчьим воем красных, их залпами, одним страшным гулом пустоты. Нет ничего глуше, ничего безнадежнее русской вьюги.

В зимних боях мы измотались. Потери доходили до того, что роты с двухсот штыков докатывались до двадцати пяти. Бывало и так, что наши измотанные взводы по семь человек отбивали в потемках целые толпы красных. Все ожесточели. Все знали, что в плен нас не берут, что нам нет пощады. В плену нас расстреливали поголовно. Если мы не успевали унести раненых, они пристреливали себя сами.

26 января 1919 года в самой мгле метели 2-я рота моего батальона поручика Мелентия Димитраша сбилась с дороги и оказалась у красных в тылу. С тяжелыми потерями люди пробились назад. Димитраша с ними не было.

– Где командир роты? – спросил я.

Лица иззябших людей, как и шинели, были покрыты инеем. Среди них были раненые. От стужи кровь почернела, затянулась льдом. Все были окутаны морозным паром. Они угрюмо молчали.

– Где командир роты?

Фельдфебель штабс-капитан Лебедев выступил вперед и хмуро сказал:

– Он не захотел уходить.

Тогда стали застуженными голосами рассказывать, как Димитраш был ранен, тяжело, кажется в живот. Красные наседали; рота была окружена. Димитраша подняли. Первой пыталась нести его доброволица Букеева, дочь офицера, сражавшаяся в наших рядах. В пурге выли красные, они стреляли со всех сторон по сбившейся роте. Тогда Димитраш приказал его оставить, приказал опустить его у пулемета. Над ним столпились, не уходили.

– Исполнять мои приказания! – крикнул Димитраш и стукнул ладонью по мерзлой земле: – Я остаюсь. Я буду прикрывать отступление. Извольте отходить.

Рота заворчала, люди не подчинялись. Зеленоватые глаза Димитраша разгорелись:

– Исполнять мои приказания!

Тогда мало-помалу рота потянулась в снеговой туман. За ними лязгал пулемет Димитраша. Цепи, полуслепые от снега, пробивались в пурге. Все дальше, все глуше такал и лязгал пулемет Димитраша.

Цепь пробилась. Я помню, как принесли доброволицу Букееву, суровую, строгую девушку, нашу соратницу, В бою она отморозила себе обе ноги. Позже она застрелилась в Крыму, в немецкой колонии Молочная.

Туда, где оставался с пулеметом раненый Димитраш, была послана резервная рота. Пулемет Димитраша уже смолк. Все молчало в темном поле. Среди тел, покрытых инеем и заледеневшей кровью, мы едва отыскали Димитраша. Он был исколот штыками, истерзан. Я узнал его тело только по обледеневшим рыжеватым усам и подбородку. Верхняя часть головы до челюсти была сорвана. Мы так и не нашли ее в темном поле, где курилась метель.

Вместе с поручиком Димитрашем смертью храбрых пали в том бою капитан Китари, капитан Бажанов, поручик Вербицкий и другие, тридцать один человек. Капитан Китари, старший офицер 2-й роты, чернявый, малорослый, с усами, запущенными книзу, мешковатый, даже небрежный с виду, – забота обо всех и обо всем, такой хлопотун, что мы его прозвали «квочкой», – был настоящей российской пехотой.

Или поручик Вербицкий, командир 3-го взвода, с ясными глазами, со свежим румянцем, офицер замечательного хладнокровия и самообладания. Это он в бою под Кореневкой, когда на его взвод обрушилась конница Сорокина, с божественным спокойствием отставил команду для стрельбы, чтобы дать два наряда не в очередь поручику Петрову, Медведю, поторопившемуся с ружейным приемом. Вербицкий любил говорить, что солдатская служба продолжается всегда и везде, что она бессрочна. Так он уже провидел тогда нашу теперешнюю солдатскую судьбу.

Малишич, немного увалень, Бажанов, как и все тридцать один, как хромоногий Жебрак, как все другие семьдесят семь Белой Глины и все семидежды семьдесят семь, павшие смертью храбрых на полях чести: их жизнь не отошла волной на тихом отливе, не иссякла.

Они не умерли, они убиты. Это иное. В самой полноте жизни и деятельности, во всей полноте человеческого дыхания, они были как бы сорваны, не досказав слова, не докончив живого движения. В смерти в бою смерти нет.

Вербицкий, обещавший так много, или мой брат, как и тысячи и десятки тысяч всех их, не доведших до конца живого движения, не досказавших живого слова, живой мысли, все они, честно павшие, доблестные, ради кого и о ком я только и рассказываю, все они в нас еще живы.

Именно в этом тайна воинского братства, отдавания крови, жизни за других. Они знали, что каждый из боевых собратьев всегда встанет им на смену, что всегда они будут живы, неиссякаемы в живых. И никто из нас, бессрочных солдат, никогда не должен забывать, что они, наши честно павшие, наши доблестные, повелевают всей нашей жизнью и теперь и навсегда.

Перекличка наших мертвецов с каждым днем становилась все длиннее. Уже в Каменноугольном районе, в пурге, поглощавшей все, не только наше далекое довоенное прошлое, но и недавняя стоянка в Новочеркасске казались нам видением иного мира, которому как будто никогда не вернуться. Но мы понимали, что деремся за Россию, что деремся за саму душу нашего народа и что драться надо. Мы уже тогда понимали, какими казнями, каким мучительством и душегубством обернется окаянный коммунизм для нашего обманутого

народа. Мы точно уже тогда предвидели Соловки и архангельские лагеря для рабов, волжский голод, террор, разорение, колхозную каторгу, все бесчеловечные советские злодеяния над русским народом. Пусть он сам еще шел против нас за большевистским отребьем, но мы дрались за его душу и за его свободу.

И верили, как верим и теперь, что русский народ еще поймет все, так же как поняли мы, и пойдет тогда с нами против советчины. Эта вера и была всегда тем «мерцанием солнечных лучей», о котором писал в своем походном дневнике генерал Дроздовский.

А бои все ширились, разрастались. Гражданская война все жесточела.

Баклажки

Известно, что плечом к плечу с офицером и студентом ходили в атаки в наших цепях гимназисты, реалисты, кадеты – дети Добровольческой армии. В строю вместе шли в огонь офицеры, студенты, солдаты из пленных красноармейцев и дети-добровольцы.

Мальчики-добровольцы, о ком я пытаюсь рассказать, может быть, самое нежное, прекрасное и горестное, что есть в образе Белой армии. К таким добровольцам я всегда присматривался с чувством жалости и немого стыда. Никого не было жаль так, как их, и было стыдно за всех взрослых, что такие мальчуганы обречены вместе с нами на кровопролитие и страдание. Кромешная Россия бросила в огонь и детей. Это было как жертвоприношение.

Подростки, дети русской интеллигенции, поголовно всюду отзывались на наш призыв. Я помню, как, например, в Мариуполе к нам в строй пришли почти полностью все старшие классы местных гимназий и училищ. Они убегали к нам от матерей и отцов. Они уходили за нами, когда мы оставляли города. Кадеты пробирались к нам со всей России.

Русское юношество без сомнения отдало Белой армии всю свою любовь, и сама Добровольческая армия есть прекрасный образ русской юности, восставшей за Россию.

Мальчуганы умудрялись протискиваться к нам через все фронты. Они добирались до кубанских степей из Москвы, Петербурга, Киева, Иркутска, Варшавы. Сколько раз приходилось опрашивать таких побродяжек, загорелых оборвышей в пыльных, стоптанных башмаках, исхудавших белозубых мальчишек. Они все желали поступить добровольцами, называли своих родных, город, гимназию или корпус, где учились.

– А сколько тебе лет?

– Восемнадцать, – выпаливает пришедший, хотя сам, что называется, от горшка три вершка. Только головой покачаешь.

Мальчуган, видя, что ему не верят, утрет обезьяньей лапкой грязный пот со щеки, перемнется с ноги на ногу:

– Семнадцать, господин полковник.

– Не ври, не ври.

Так доходило до четырнадцати. Все кадеты, как сговорившись, объявляли, что им по семнадцати.

– Но почему же ты такой маленький? – спросишь иной раз такого орла.

– А нас рослых в семье нет. Мы все такие малорослые.

Конечно, в строю приходилось быть суровым. Но с какой нестерпимой жалостью посмотришь иногда на солдатенка во все четырнадцать лет, который стоит за что-нибудь под винтовкой – сушит штык, как у нас говорилось. Или как внезапно падало сердце, когда заметишь в огне, в самой жаре, побледневшее ребяческое лицо с расширенными глазами. Кажется, ни одна потеря так не била по душе, как неведомый убитый мальчик, раскинувший руки в пыльной траве. Далеко откатилась малиновая дроздовская фуражка, легла пропотевшим донышком вверх.

Мальчуганы были как наши младшие братья. Часто они и были младшими в наших семьях. Но строй есть строй. Я вспоминаю, как наш полк подходил боевым строем к селу Торговому. С хутора Капустина, что правее железной дороги, загремела стрельба.

Четвертая донская сотня 2-го конного офицерского полка, шедшая впереди, бросилась на хутор в атаку. Внезапно навстречу донцам поднялось огромное облако пыли. По-видимому, встречной атакой понеслись красные. Когда серая мгла слегка рассеялась, мы увидели, что в пыли скачут на нас причудливые горбатые тени. Это от стрельбы и огня бежали с хутора верблюды. Долговязую верблюжью силу мы переловили.

Четвертая сотня ворвалась на хутор. Красных выбили. К Капустину подтянулся весь полк. Быстрая река мчалась за хутором. За ней залегли красные. 9-я рота полковника Двигубского кинулась атаковать деревянный пешеходный мост. Красные из-за реки атаку отбили. Рота залегла у моста под пулеметным огнем. Стонали раненые, воздух сухо гремел от огня. Весь полк лег цепями вдоль речного берега. Бой разгорался.

День был сверкающий, жаркий. Люди в цепях задыхались от духоты. Моя 2-я рота была в резерве. У нас, на счастье, была прохлада и тень: мы стояли под стеной огромного кирпичного сарая. В сарай 1-я батарея вкатила полевое орудие, в стене пробили брешь, и наша пушка открыла по красным пулеметам беглый огонь.

Красные пушку заметили, сосредоточили огонь на сарае. Все артиллеристы и начальник орудия полковник Протасович были переранены, на их удачу легко. Этот поединок длился долго; сарай гудел, сотрясался. Но от каменной стены шла такая приятная прохлада, что моя рота, уставшая после ночного марша, отдыхала и в этом грохоте. Кто спал стоя, прислонясь к стене, кто сидел на корточках с винтовкой между колен. Вот когда я по-настоящему понял поговорку «и пушками не разбудишь».

Я тоже дремал, поеживаясь, правда, от близкого пушечного грома. Внезапно послышался резкий окрик командира полковника Жебрака:

– Капитан Туркул!

Я вскочил на ноги.

– Или вы не видите, что едет главнокомандующий?

Пыльный Жебрак стоял передо мной, вытирая платком усы и брови. Моя рота с лязгом поднималась на ноги и строилась вдоль сарая. У многих со сна были довольно растерянные лица.

Я посмотрел в блещущее поле. К нам с тыла, поднимая тонкую пыль, скачет на сером коне генерал Деникин со штабом под желто-черным георгиевским значком. Значок трепещет на солнце над головами конвойцев куском расплавленного золота.

– Немедленно в атаку, вброд! – крикнул мне Жебрак.

Никто из нас не знал, есть ли брод и какая глубина, но я проворно вынул из кармана бумажник, портсигар, часы, умял все в фуражку, чтобы не промокло, и скомандовал:

– Рота, за мной!

Червонный значок блистал все ближе. Каждому казалось, что седой главнокомандующий смотрит только на него. Я бросился с берега, за мной, выбивая шумные каскады воды, вся рота. Я ухнул неудачно, сразу попал в яму, ушел под воду с головой. Вынырнул, отфыркиваясь. Какое ослепительное солнечное дрожание, как звучно гогочут над водой пулеметы красных. Я пустился вплавь. Рядом со мной, чихая, как пудель, плыл с пулеметом Льюиса поручик Димитраш. Рыжеватая мокрая голова Мелентия блистала на солнце. Я почувствовал под ногами вязкое дно.

Три взвода в моей роте были офицерские, а четвертый мальчишеский. Все воины четвертого взвода были, собственно говоря, подростками-мальчуганами. Мы их прозвали баклажками, что то же, что фляга, необходимая принадлежность солдатской боевой амуниции. Но в самой баклажке, мирно и весело побрякивающей у солдатского пояса, ничего боевого нет.

Удалые баклажки кинулись с нами в реку, но тут же все поголовно ушли под воду. Ребятам четвертого взвода, пускавшим пузыри, по правде сказать, приходилось все время помогать, попросту вытаскивая их из воды, как мокрых щенят.

Вода была до подмышек. Одни наши мокрые головы да вытянутые руки со сверкающими винтовками были видны над водой. Под бешеным огнем мы переправились через реку. Мокрые, сипло дыша, выбрались на берег, и надо было видеть, как наши мальчуганы,

только что наглотавшиеся воды и песку, с удалым «ура» кинулись в атаку на красные цепи, залегшие у берега, на дома, откуда дробно стучали пулеметы.

Красные отхлынули. Мы взяли хутор. Потерь у нас было немного, но все тяжелые: было восемь раненных в воде в головы и в руки. Река, которая было замутилась и покраснела от крови, мчалась снова со свежим шумом. 9-я рота, едва мы перешли реку, пошла лобовой атакой на мост. Мост взят. А впрочем, генералом Деникиным уже описана в его записках вся эта удалая атака.

После боя на зеленом лугу полуголые, смеясь, выкручивая и выжимая рубахи и подштанники, как радовались все мы и как были счастливы, что нашу атаку наблюдал сам главнокомандующий. Мы слегка посмеивались над нашими баклажками.

– Не будь баклажек, – говорили в роте, – куда там перейти реку. Спасибо четвертому взводу, помог: всю воду из реки выхлебал…

Баклажки не обижались.

Вспоминаю, какие еще пополнения приходили к нам на походе. Одни мальчуганы. Помню, под Бахмутом, у станции Ямы, с эшелоном 1-го батальона пришло до сотни добровольцев. Я уже командовал тогда батальоном и задержал его наступление только для того, чтобы их принять. Смотрю, а из вагонов посыпались как горох самые желторотые молокососы, прямо сказать, птенцы.

Высыпались они из вагонов, построились. Звонкие голоса школьников. Я подошел к ним. Стоят хорошо, но какие у всех детские лица! Я не знаю, как и приветствовать таких бравых бойцов.

– Стрелять вы умеете?

– Так точно, умеем, – звонко и весело ответило все пополнение.

Мне очень не хотелось принимать их в батальон – сущие дети. Я послал их на обучение. Двое суток гоняли мальчуганов с ружейными приемами, но что делать с ними дальше, я не знал. Не хотелось разбивать их по ротам, не хотелось вести детей с собой в бой. Они узнали, вернее, почуяли, что я не хочу их принимать. Они ходили за мной, что называется, по пятам, упрашивали меня, шумели, как галки, все божились, что умеют стрелять и наступать.

Мы все были тогда очень молоды, но была невыносима эта жалость к детству, брошенному в боевой огонь, чтобы быть в нем истерзанным и сожженным.

Не я, так кто-нибудь другой все же должен был взять их с собой. Со стесненным сердцем я приказал разбить их по ротам, а через час под огнем пулеметов и красного бронепоезда мы наступали на станцию Ямы, и я слушал звонкие голоса моих удалых мальчуганов.

Ямы мы взяли. Только один из нас был убит. Это был мальчик из нового пополнения. Я забыл его имя. Над полем горела вечерняя заря. Только что пролетел дождь, был необыкновенно безмятежен и чист светящийся воздух. В долгой луже на полевой дороге отражалось желтое небо. Над травой дымила роса. Тот мальчик в скатанной солдатской шинели, на которой были капли дождя, лежал в колее на дороге. Почему-то он мне очень запомнился. Были полуоткрыты его застывшие глаза, как будто он смотрел на желтое небо.

У него на груди нашли помятый серебряный крестик и клеенчатую черную тетрадь, гимназическую общую тетрадь, мокрую от крови. Это было нечто вроде дневника, вернее, переписанные по гимназическому и кадетскому обычаю стихи, чаще всего Пушкина и Лермонтова…

Я сложил крестом на груди совершенно детские руки, холодные и в каплях дождя.

Тогда, как и теперь, мы все почитали русский народ великим, великодушным, смелым и справедливым. Но какая же справедливость и какое великодушие в том, что вот русский мальчик убит русской же пулей и лежит на колее, в поле? И убит он за то, что хотел защитить свободу и душу русского народа, величие, справедливость, достоинство России.

Сколько сотен тысяч взрослых, больших, должны были бы пойти в огонь за свое отечество, за свой народ, за самих себя вместо того мальчугана. Тогда ребенок не ходил бы с нами в атаки. Но сотни тысяч взрослых, здоровых, больших людей не отозвались, не тронулись, не пошли. Они пресмыкались по тылам, страшась только за свою в те времена еще упитанную человеческую шкуру.

А русский мальчуган пошел в огонь за всех. Он чуял, что у нас правда и честь, что с нами русская святыня. Вся будущая Россия пришла к нам, потому что именно они, добровольцы – эти школьники, гимназисты, кадеты, реалисты – должны были стать творящей Россией, следующей за нами. Вся будущая Россия защищалась под нашими знаменами; она поняла, что советские насильники готовят ей смертельный удар.

Бедняки-офицеры, романтические штабс-капитаны и поручики, и эти мальчики-добровольцы, хотел бы я знать, каких таких «помещиков и фабрикантов» они защищали? Они защищали Россию, свободного человека в России и человеческое русское будущее. Потому-то честная русская юность, все русское будущее – все было с нами. И ведь это совершенная правда: мальчуганы повсюду, мальчуганы везде.

Я помню, как в том же бою под Торговой мы захватили у красных вагоны и железнодорожные площадки. У нас бронепоездов тогда еще не было. И вот в Торговой наши доблестные артиллеристы и пулеметчики устроили свой скоропалительный и отчаянный бронепоезд. Простую железнодорожную платформу загородили мешками с землей и песком и за это прикрытие вкатили пушку и несколько пулеметов. Получился насыпной окоп на колесах.

Эту товарную площадку прицепили к самому обыкновенному паровозу, не прикрытому броней, и необычайный бронепоезд двинулся в бой. Каждый день он дерзко кидался в атаки на бронепоезда красных и заставлял их уходить одной своей удалью. Но после каждого боя мы хоронили его бойцов. Тяжелой ценой добывал он победы.

В бою под Песчанокопской на него навалилось несколько бронепоездов красных. Они всегда наваливались на нас числом, всегда подавляли нас массой, человеческой икрой. Наш бронепоезд не умолкая отстреливался из своего легкого полевого орудия. Разметало все его мешки с песком, разворотило железную площадку – он все отбивался. Им командовал капитан Ковалевский. От прямых попаданий бронепоезд загорелся. И только тогда он стал отходить. Он шел на нас как громадный столб багрового дыма, но его пушка все еще гремела. Капитан Ковалевский и большинство команды были убиты, остальные переранены. Горящий бронепоезд подходил к нам. На развороченной железной площадке, среди обваленных и обгоревших мешков с землей, острых пробоин, тел в тлеющих шинелях, среди крови и гари, стояли почерневшие от дыма мальчики-пулеметчики и безумно кричали «ура».

Доблестных убитых мы похоронили с боевыми почестями. А на другой день новая команда уже шла на эту отчаянную площадку, которую у нас почему-то прозвали «украинская хата»; шли беззаботно и весело, даже с песнями. И все они были юноши, мальчики по шестнадцати, семнадцати лет.

Гимназист Иванов, ушедший в Дроздовский поход, или кадет Григорьев – запишет ли кто и когда хотя бы только некоторые из тысяч всех этих детских имен?

Я вспоминаю гимназиста Садовича, пошедшего с нами из самых Ясс. Был ему шестнадцатый год. Быстроногий, белозубый, чернявый, с родинкой на щеке, что называется, шибздик. Как-то странно подумать, что теперь он стал настоящим мужчиной, с усищами.

В бою под Песчанокопской прислали ко мне этого шибздика от взвода для связи. В Песчанокопскую мы вошли после короткого, но упорного боя. Моя вторая рота получила приказание занять станцию. Мы подошли к ней в темноте. Я отправил фельдфебеля штабс-капитана Лебедева со второй полуротой осмотреть станцию и пути. Тогда-то Садович и попросил у меня разрешения тоже посмотреть, что делается на станции. Я разрешил, но посоветовал ему быть осторожным.

Полурота шла по путям. Садович метнулся к станции. Стояла глубокая тишина. Станция, по-видимому, была оставлена красными. Я приказал ввести туда всю роту, а сам пошел вперед. Шаги глухо раздавались в пустых станционных залах. Я вышел на перрон. Там маячил один подслеповатый керосиновый фонарь. Кругом налегла черная ночь.

Вдруг мне показалось, будто какая-то тень промелькнула в желтоватом круге света; в потемках послышался шум, глухая возня, подавленный крик:

– Господин капитан, госпо…

Я увидел, как трое больших напали на четвертого, маленького, и узнал, вернее, почувствовал, в маленьком нашего шибздика. Я побежал туда с маузером в руке. Садовича душили. Выстрелами я уложил двоих. Третий нырнул в темноту, но Садович уже очнулся и кинулся за ним. Глухо топоча, они пронеслись мимо меня в потемках. Я слушал их быстрое дыхание. Садович нагнал третьего и с разбега заколол его штыком.

Эти трое были красной засадой, оставленной на станции. Здоровые, с бритыми головами, в кожаных куртках, вероятнее всего, красноармейские чекисты. Я и теперь не могу понять, почему они сразу не прикололи маленького Садовича, а навалились на него втроем душить. То, как матерые советские каты ночью, при свете станционного ночника, навалились душить мальчугана, часто кажется мне и сегодня олицетворением всей советчины.

Павлик, мой двоюродный брат, красивый, рослый мальчик, кадет Одесского корпуса, тоже был баклажкой. Когда я ушел с Дроздовским, он был у своей матери, но знал, что я либо в Румынии, либо пробираюсь с отрядом по русскому югу на Ростов и Новочеркасск.

И вот ночью, после переправы через Буг, к нашей заставе подошел юный оборванец. Он называл себя моим двоюродным братом, но у него был такой товарищеский вид, что офицеры ему не поверили и привели ко мне. За то время, как я его не видел, он могуче, по-мальчишески внезапно, вырос. Он стал выше меня, но голос у него смешно ломался. Павлик ушел из дому за мной, в отряд. Он много блуждал и нагнал меня только на Буге. С моей ротой он пошел в поход.

В Новочеркасске мне приказано было выделить взвод для формирования 4-й роты. Павлик пошел в 4-ю роту. Он потемнел от загара, как все, стал строгим и внимательным. Он мужал на моих глазах. В бою под Белой Глиной Павлик был ранен в плечо, в ногу и тяжело в руку. Руку свело; она не разгибалась, стала сохнуть. Светловолосый, веселый мальчуган оказался инвалидом в восемнадцать лет. Но он честно служил и с одной рукой. Едва отлежавшись в лазарете, он прибыл ко мне в полк.

Не буду скрывать, что мне было жаль исхудавшего мальчика с высохшей рукой, и я отправил его как следует отдохнуть в отпуск, в Одессу. Там была тогда моя мать. Павлик весело рассказывал мне потом, как мать, которой пришлось жить в Одессе под большевиками, читала в советских сводках о белогвардейце Туркуле с его «белобандитскими бандами», которых, по-видимому, порядком страшились товарищи. Мать тогда и думать не могла, что этот страшный белогвардеец Туркул был ее сыном, по-домашнему Тосей, молодым и, в общем, скромным штабс-капитаном.

Когда Павлик открыл моей матери тайну, что белый Туркул есть именно я, мать долго не хотела этому верить. Такой грозной фигурой малевали, честили и прославляли меня советские сводки, что даже родная мать меня не признала.

Павлик, вернувшийся из Одессы, был без руки не годен к солдатскому строю, и я зачислил его в мой штаб. Тогда же по секрету от Павлика я представил его к производству в офицерский чин.

В одном бою, уже после нашего отступления, я со своим штабом попал под жестокий обстрел. Мы стояли на холме. Красные крыли сильно. Кругом взметывало столбы земли и пыли. Я зачем-то обернулся назад и увидел, как у холма легли в жесткую траву солдаты связи, а с ними, прижавшись лицом к земле, лег и мой Павлик. Он точно почувствовал мой

взгляд, поднял голову, сразу встал на ноги и вытянулся. А сам начал краснеть, краснеть, и слезы выступили у него из глаз.

Вечером, устроившись на ночлег, я отдыхал в хате на походной койке; вдруг слышу легкий стук в дверь и голос:

– Господин полковник, разрешите войти?

– Войдите.

Вошел Павлик; встал у дверей по-солдатски, молчит.

– Тебе, Павлик, что?

Он как-то встряхнулся и уже вовсе не по-солдатски, а застенчиво, по-домашнему, сказал:

– Тося, даю тебе честное слово, я никогда больше не лягу в огне.

– Полно, Павлик, что ты…

Бедный мальчик! Я стал его, как умел, успокаивать, но только отпуск в хозяйственную часть, на кутью к моей матери, тете Соне, как он называл ее, убедил, кажется, Павлика, что мы с ним такие же верные друзья и удалые солдаты, как и раньше.

23 декабря 1919 года ранним утром Павлик уехал к своей тете Соне на кутью. Я проснулся в утренних потемках, слышал его осторожный юный голос и легкий скрип его шагов по крепкому снегу. В то студеное мглистое утро с Павликом на тачанках отправились в отпуск несколько офицеров. К ним по дороге присоединились две беженки из Ростова, интеллигентные дамы. Их имен я не знаю. Все они беззаботно тащились по снегу и мерзлым лужам к хозяйственной части.

По дороге, на встречном хуторе, устроили привал. Конюхи распрягли коней и повели на водопой. Тогда-то и налетели на них красные партизаны. Одни конюхи успели вскочить на лошадей и ускакать. К вечеру обмерзшие, окутанные паром, примчались они ко мне в Кулешовку и растерянно рассказали, как напала толпа партизан, как они слышали стрельбу, крики, стоны, но не знают, что с нашими стало.

Ночью, в жестокий мороз, с командой пеших разведчиков и двумя ротами первого батальона я на санях помчался на тот хутор. Меня лихорадило от необычной тревоги. На рассвете я был у хутора и захватил с удара почти всю толпу этих красных партизан.

Они перебрались в наш тыл по льду замерзшего Азовского моря, может быть, верст за сорок от Мариуполя или Таганрога. Нападение было так внезапно, что никто не успел взяться за оружие. Наши офицеры, женщины и Павлик были запытаны самыми зверскими пытками, оглумлены всеми глумлениями и еще живыми пущены под лед.

Хозяйка дома, у которой остановился Павлик, рассказала мне, что «того солдатика, молоденького, статного да сухоруконького, партизаны обыскали и в кармане шинели нашли новенькие малиновые погоны. Тогда стали его пытать».

Кто-нибудь из штабных писарей, зная, что я уже подал рапорт о производстве Павлика в офицеры, желая сделать Павлику приятное, сунул ему на дорогу в карман шинели малиновые погоны подпоручика.

Подо льдом никого не нашли. Много лет я молчал о мученической смерти Павлика, и долго мать не знала, что с сыном.

Всем матерям, отдавшим своих сыновей огню, хотел бы я сказать, что их сыновья принесли в огонь святыню духа, что во всей чистоте юности легли они за Россию. Их жертву видит Бог. Я хотел бы сказать матерям, что их сыновья, солдаты без малого в шестнадцать лет, с нежными впадинами на затылках, с мальчишескими тощими плечами, с детскими шеями, повязанными в поход домашними платками, стали священными жертвами за Россию.

Молодая Россия вся вошла с нами в огонь. Необычайна, светла и прекрасна была в огне эта юная Россия. Такой никогда и не было, как та, под боевыми знаменами, с детьми-добровольцами, пронесшаяся в атаках и крови сияющим видением. Та Россия, просиявшая в

огне, еще будет. Для всего русского будущего та Россия, бедняков-офицеров и воинов-мальчуганов, еще станет русской святыней.

Полковник Петерс

Жестокую зиму 1919 года мы выстояли в Каменноугольном районе. Наконец вернулось солнце. С его приходом мы снова могли маневрировать и одолевать красных одним умением. С весны стали готовиться к наступлению.

Под Горловкой мой батальон занял село Государев Байрак. Село большое, грязное, пьяное, издавна обработанное красными посульщиками. В селе нами была объявлена, кажется, одна из первых белых мобилизаций. На мобилизацию пришли далеко не все шахтерские парни. За неявку пришлось грозить арестами, даже судами.

Зимой мы подались от села, но с весенним наступлением вернулись туда снова. Тогда было поймано двое уклонившихся. Им основательно всыпали, и тогда Государев Байрак потек на мобилизацию толпой. Шахтерские рабочие, народ рослый и угрюмый, – точно в них въелась угольная пыль, – сильные парни, не очень-то по доброй воле и с не очень-то, разумеется, добрыми чувствами пошли в наши ряды, к кадетам, к золотопогонникам.

Незадолго до Пасхи мы стояли на станции Криничной. Оттуда я послал в Ростов командира 2-й роты офицерского полка капитана Евгения Борисовича Петерса закупить в городе колбасы, яиц и куличей, чтобы устроить батальону хорошие разговены. Петерс уехал, а его роту, в которой было до семидесяти мобилизованных шахтеров, временно принял капитан Лебедев. Уже случалось, что шахтерские ребята по ночам удирали от нас по одному, по двое к красным.

В ночь отъезда Петерса я пошел по охранениям проверить полевые караулы и в темноте в мокрой траве наткнулся на офицера 2-й роты. Офицер был заколот штыком. Он ушел в полевой караул с шестью солдатами из Государева Байрака. Все шестеро бежали, приколов своего офицера. Я немедленно снял 2-ю роту со сторожевых охранений и отправил ее в резерв. Полевой караул заняли другие – ни одному шахтеру больше не было веры.

Петерс, довольный поездкой, с грудой колбас и куличей вернулся из Ростова. Батальон жил тогда в эшелонах и товарных теплушках. Петерс еще не дошел до моей теплушки, как ему рассказали об убийстве офицера и бегстве солдат.

– Вы знаете? – сказал я ему, когда он пришел ко мне с рапортом.

– Да. Разрешите мне привести роту в порядок.

– Не только разрешаю, но и требую.

Петерс круто повернулся на каблуках и вышел. Вскоре послышалась команда:

– Строиться.

Я видел, как люди его роты выстроились вдоль красных стен вагонов. Все чувствовали необычайность этого ночного смотра. Петерс стоял перед ротой суровый, понурившись. С людьми он не поздоровался. Он медленно прошел вдоль строя. Его шаги скрипели на песке.

Он спокойно скомандовал:

– Господа офицеры, старые солдаты и добровольцы, десять шагов вперед, шагом марш.

Глухо отдав ногу, они выступили из рядов.

– Господа, вы можете идти к себе в теплушки.

У вагонов остался поредевший ряд из одних пленных красноармейцев и шахтеров. Люди замерли. Петерс стоял перед ними, поглаживая выбритый подбородок. Он спокойно смотрел на людей, что-то обдумывая. Уже была полная ночь. В тишине было слышно тревожное дыхание в строю.

– Рота, зарядить винтовки… Курок.

Защелкали затворы. Что такое задумал Петерс, почему шестьдесят его шахтеров закладывают боевые обоймы?

– На плечо. Направо, шагом – марш.

И они пошли. Они исчезли в прозрачной ночи беззвучно, как привидения. Это было в ночь страстного четверга.

Мы терялись в догадках, куда повел Петерс своих шахтеров. Вскоре мне доложили, что он вышел с солдатами на фронт. Казалось, он идет к красным. Но вот он повернул вдоль фронта и пошел с ротой по изрытому мягкому полю. До красных было несколько сот шагов, у них в ту ночь все молчало.

С наганом Петерс понуро шел впереди роты. Версты две они маршировали вдоль самого фронта, потом Петерс приказал повернуть обратно. В ту прозрачную ночь могло казаться, что вдоль фронта проходит с едва отблескивающими винтовками и амуницией толпа солдат-привидений за призраком-офицером.

В полном молчании взад и вперед Петерс всю ночь маршировал со своей ротой вдоль фронта. Он ходил с людьми до того, что они стали тяжело дышать, спотыкаться, дрожать от усталости, а он все поворачивал их вперед и назад и шагал как завороженный дальше.

На рассвете он привел всех шестьдесят обратно. Его окаменевшее крепкое лицо было покрыто росой. Люди его роты, посеревшие от усталости, теснились за ним. Через день или два после необычайного ночного смотра он доложил мне:

– Господин капитан, 2-я рота в порядке.

– Но что вы там с ними наколдовали, Евгений Борисович?

– Я не колдовал. Я только вывел их в поле на фронт и стал водить. Я решил, либо они убьют меня и все сбегут к красным, либо они станут ходить за мной. Я их водил, водил, наконец остановил, повернулся к ним и сказал: «Что ж, раз вы убиваете офицеров, остается только вас всех перестрелять, – и выстрелил в воздух, а потом сказал: – Там коммунистическая сволочь, которую когда-нибудь все равно перевешают. Здесь Россия. Ступайте туда – тогда вы такая же сволочь, или оставайтесь здесь – тогда вы верные русские солдаты». Сказал и пошел.

На замкнутом лице Петерса мелькнула счастливая улыбка.

– А они, все шестьдесят, поперли за мной, как дети. Теперь они будут верными. Они ничего, шахтерские ребята, они солдаты хорошие.

Евгений Борисович не ошибся. Шахтеры Государева Байрака честно и доблестно стояли за нами в огне за Россию. Лучшими дроздовскими солдатами почитались наши шахтеры, они ценились у нас на вес золота, а у Петерса с тех времен и до конца ординарцы и вся связь всегда были шахтерские.

Вскоре после Пасхи Петерс был ранен в руку, но не оставил командования ротой. В конце апреля на батальон пришло наконец для раздачи жалованье. Я вызвал к себе в теплушку ротных командиров. Пришел и Петерс с подвязанной рукой.

Стоял, помнится, прекрасный летний день. Как раз когда мы все чему-то молодо и весело смеялись, мне доложили, что красные перешли в наступление и что левый фланг полка обойден. Кое-кто из командиров забыл на моем дощатом столе пачки долгожданных «колокольчиков», так все заторопились по ротам. Заспешил и Петерс. Я его остановил:

– А вы куда, Евгений Борисович? Вы ранены, извольте идти в эшелон.

– Слушаю.

Петерс повернулся и вышел.

На левом фланге гремел сильный огонь. Мой батальон построился для атаки. В поле, недалеко от эшелонов, показались густые цепи большевиков. Мы цепями же пошли на них в атаку.

Все чаще стали попадаться навстречу раненые. Вдруг я заметил, как два наших шахтера, залитые потом, несут Петерса. Его ноги были в крови. Его пронесли быстро, и только после успешной атаки я узнал, что он, не желая отсиживаться во время боя в эшелоне, бук-

вально нырнул к своей 2-й роте, пригибаясь, чтобы я не заметил, за рослых людей, и повел их в огонь.

Страшная сила, неудержимое движение, поразительная стремительность всегда были в атаках Петерса. Раненный в ногу, он снова не пожелал оставлять полка, а так и лежал в эшелоне, в тесном чуланце полкового околотка и, едва полегчало, стал приглашать нас в гости. Полулежа на койке, довольный всем на свете, он сражался с нами истрепанными, засаленными картами.

Таков был Петерс. Этот скромный молодой офицер был подлинным воином. Сын, кажется, учителя гимназии, студент Московского университета, он ушел на большую войну прапорщиком запаса 268-го пехотного Новоржевского полка. Если бы не война, и он, вероятно, кончил бы где-нибудь учителем гимназии, но боевой огонь открыл настоящую сущность Петерса, его гений.

В большой войне, когда после первого ранения он вернулся на фронт, новоржевцы лежали в окопах под какой-то высотой, которую никак не могли взять: возьмут, а их вышибут.

Командир полка сказал Петерсу:

– Вот никак не можем взять высоты. Хорошо бы, знаете, послать туда разведку.

– Слушаю.

Ночью, совершенно так же, как у нас под страстной четверг, Петерс выстроил роту и повел ее куда-то в полном молчании. Вдруг выстрелы, отборная ругань, крики, и появился Петерс – со своей ротой и толпой пленных. Вместо разведки он взял высоту, и на этот раз прочно. За ночной бой он получил орден Святого Георгия.

Теперь, когда я вспоминаю этого офицера из московских студентов, мне кажется, что какой-то медный отблеск был на его твердом, необычайной силы лице с широким круглым подбородком, на его литом теле. Темноволосый, невысокий, с упорными серыми глазами, он был красив странной, немного азиатской, мужественной красотой. Ему едва ли было тридцать. Я помню его легкую семенящую походку.

Рассказывая об огне, в котором стояли дроздовцы, об атаках, о самых трудных мгновениях боев, всегда приходится вспоминать его, командира роты капитана Петерса или командира батальона полковника Петерса. Петерс принимал на себя все тяжкие боевые удары, и как бы действительно была у него медная грудь, о которую со звоном разбивался противник.

Богодухов, Харьков, Ворожба, Севск, Комаричи, Дмитриев, Дон, Азов, Хорлы, весь Крым – всюду блистает в огне медное лицо непоколебимого воина Евгения.

Нечто древнее было в нем; может быть, потому, что в нем смешалась вместе кровь наших кривичей и латышей, немцев и татар. В его загадочно-спокойном лице была магнетическая напряженность. Он точно всегда созерцал перед собой ему одному доступное видение.

Была у него одна черта, которую я в такой силе не встречал больше ни у кого. У Петерса не было страха. У других выдержка в бою, самообладание есть следствие острой внутренней борьбы. Надо бороться всеми человеческими силами духа со страхом смертным и животным волнением, надо их побеждать. Но Петерс просто не знал, не испытывал страха. В огне у него был совершенный покой, а в его покое было нечто азиатское, страшное. В его покое было и нечто нечеловеческое. Божественное.

А в жизни этот молодой и скромный офицер из московских студентов был редкостным чудаком. Старый солдат Ларин ходил у него в вестовых. Весь смысл жизни для пожилого, одинокого, с уже поседевшими висками Ларина заключался в охране домашних лар (у древних римлян души предков, покровителей домашнего очага. – *Примеч. ред.*) и пенатов Евгения Борисовича. С Лариным Петерс был суров, но любил его искренно. Обычным нашим делом было Ларина разыгрывать:

– Ларин, вот беда-то, весь табак вышел.

– Беда, господин капитан.

– Возьми, дружище, папирос у господина капитана.

– Никак нет, господин капитан.

– Как – никак нет? Одну папиросу.

– И одну не могу. Евгений Борисович, когда узнает, меня беспременно застрелит.

Папиросы были одной из странностей Петерса. В Добровольческой армии, да, я думаю, и нигде на свете, никто не был обладателем таких табачных сокровищ, как он. У него был особый чемодан для папирос и табаков. Там хранились коробки по сто и по тысяче штук самых удивительных сортов, еще времен дореволюционных. Были там «шапшалы» и «лафермы», великолепные коричневые пушки Асмолова, отличные желтые табаки Стамболи. Достаточно сказать, что у него был такой запас табаков, что Асмолова № 7 и другие, российские, Петерс курил еще в Болгарии.

Ни в одном джентльменском холостяцком хозяйстве нельзя было, я думаю, найти такой щепетильной чистоты и совершенного порядка, как у него, и всегда у них с Лариным было всего вдоволь. У нас и зубы на полку, а у них и сахар, и чай найдется, и наливка заветная, в плетеной фляжке с серебряным стаканчиком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.